

Иван Шмелёв

Пути небесные



АР
ДРЪ

Мир Православия

Иван Шмелев
Пути небесные

ТД "Белый город"

1936, 1947

УДК 82-97
ББК 86-372

Шмелев И. С.

Пути небесные / И. С. Шмелев — ТД "Белый город", 1936,
1947 — (Мир Православия)

ISBN 978-5-485-00161-2

В основу романа «Пути небесные» положена реальная история взаимоотношений двух любящих людей, их жизненного и духовного пути. В центре повествования – судьбы неверующего интеллигента Виктора Вейденгаммера и глубоко верующей, кроткой и внутренне сильной Дариньки Королевой. Встреча с Даринькой открывает перед Виктором новый, незнакомый ему мир, а ее любовь и глубокая вера помогают ему пройти трудный, полный сомнений, путь прозрения, «путь из тьмы к свету».

УДК 82-97

ББК 86-372

ISBN 978-5-485-00161-2

© Шмелев И. С., 1936, 1947
© ТД "Белый город", 1936, 1947

Содержание

Предисловие	6
Пути небесные	34
Том первый	35
I. Откровение	35
II. На перепутье	39
III. Испытание	43
IV. Грехопадение	48
V. Темное счастье	54
VI. Очарование	59
VII. Отпущение	64
VIII. Соблазн	69
IX. Прозрение	72
X. Наваждение	75
Конец ознакомительного фрагмента.	77

Иван Шмелёв Пути небесные

Издание 3-е

Рекомендовано к публикации Издательским Советом Русской Православной Церкви ИС
№ 10-10-0800



Предисловие

Опыт духовного романа

Первый том романа «Пути небесные» был завершен Шмелевым в мае 1936 г., второй – создан в 1944–1947 гг. Смерть писателя в 1950 г. оборвала работу над третьим томом.

В сюжетной основе романа лежат биографии реальных людей – инженера Виктора Алексеевича Вейденгаммера и Дарьи Королевой, живших в конце XIX века в окрестностях Оптиной Пустыни. Из воспоминаний известно, что кроткая и глубоко верующая девушка способствовала нравственному перерождению Виктора Алексеевича. Она стала впоследствии духовной дочерью старца Иосифа Оптинского, которого глубоко почитала и советам которого неотступно следовала. После ее внезапной смерти Виктор Алексеевич хотел покончить с собой, но, по настоянию старца Иосифа, поступил в Оптину и завершил жизнь истинным монахом.

В.А. Вейденгаммер (1843–1916) был дядей супруги Шмелева, и писатель хорошо знал его жизненный путь. Воссоздав черты личности, детали биографии и даже сохранив имена реальных людей, Шмелев создал книгу, стоящую на грани между художественным произведением и документальным повествованием.

Изначально «Пути небесные» были задуманы как несколько очерков об истории Вейденгаммера и Дариньки и предназначались для газеты «Православная Русь», выпускаемой монастырем – братством прп. Иова Почаевского. Замысел родился из желания рассказать «историю одной чудесной жизни, жизни родного дяди Олиного, что слышал, что сам видал, что... снилось»¹. Приступив к работе, Шмелев понял, что это история «не для монахов»², и начал публиковать их одновременно в газетах «Возрождение» и «Сегодня» в марте 1935 года.

После написания четвертого очерка «Грехопадение» 26 апреля Шмелев замечает, что «голый факт», лежащий в основе, надо «облечь ризами», «надо вот теперь изображать, как тянули друг дружку и кто кого и куда вытянул... “качание” было... от Содома к Мадонне. Будут теперь страшные падения, богохульства, кощунства, надрывы и взрывы, до “сапогом в икону”, – и чудеса, много чудес. И – страдания»³. Заметим, что уже здесь отчетливо различимы идейные доминанты творчества Достоевского.

К середине июня вызревает замысел романа и в общих чертах складывается фабула событий, составившая впоследствии два тома романа: «Думал в 3–4 очерка “Пути” кончу, а они беспутно бродят и превращаются в роман. Чую что-то, блестит в душе, а я не уразумею, как побреду дальше. Пойдут бега, Большой театр... листораны, цветы, вокзалы, гитара, стихи, “подходы” гусара, “жизнь”, вбирающая ее... но не отдам на позор, клянусь!.. Сам... влюбился в Дариньку... Предвкушаю... как все развернется, как я их вывезу в Мценск, как я его буду морить... как он будет кощунствовать, как она будет трепетать и как явится... монашек из Оптиной... И сие только ведь первые три года жития ихнего!.. Завезу ее, после монастырей... на Аму-Дарью! Да сбудется реченное – не скажу, что, а – хвакт. Ибо *основа* – все хвакт. Читаю пока, между делом, о “старцах” – готовлюсь!»⁴

Фабула романа в дальнейшем воплотилась в точном соответствии с этим планом. Очерки стали первыми главами нового романа.

В газете «Сегодня» были опубликованы лишь первые три главы, целиком первый том публиковался в «Возрождении» с марта 1935 г. по июнь 1936 г., а в 1937 г. вышел отдельным

¹ Ильин ИЛ. Собрание сочинений: Переписка двух Иванов (1935–1946). М., 2000. С. 40. (В дальнейшем – Переписка двух Иванов.)

² Там же. С. 53.

³ Там же. С. 53.

⁴ Там же. С. 74.

изданием (с теми же названиями глав, кроме главы 31, название которой «В Петербурге» было заменено на «Попущение»).

Над вторым томом Шмелев работал с марта 1944 г. по январь 1947 г. 13 февраля 1946 г. он показал первую редакцию второй книги «Путей небесных» И.А. Ильину, после замечаний которого («не умиляй, дай самому умилиться. Восторг автора убивает... самородящийся восторг читателя») и пожелания убрать одну сцену, в декабре 1946 г. правит том, вычеркивая из 300 страниц около сотни: «Я подсушил, вытер слезы и охладил порывы. Ахнул, сколько там сахарину! Ну и полушил... Вырезал, не щадя. Стало, кажется, лучше, *чище*»⁵. Отдельным изданием второй том вышел в 1948 г.

В читательской среде роман сразу приобрел большой успех. Номера газет с первыми главами расходились мгновенно, Шмелев получал письма с пожеланиями и даже требованиями, как развивать судьбы героев⁶.

Оценки критики были диаметрально противоположны, причем они касались самого существенного в книге.

«Шмелев... взял не идею, а саму основу жизни: веру и духовные проявления души человеческой. У него это вполне жизненно и последовательно... поэтому роман его “Пути небесные” так правдив, так близок к жизни. <...> В романе... выразилось во всей полноте настоящее христианское восприятие жизни и глубокая православная вера», – писала Е. Охотина-Маевская⁷, в то время как другие усматривали в книге сказочность сюжета, искусственность характеров. «Сладкой сказкой» назвал роман Г. Адамович, утверждавший, что «все искусство и все дарование художника направлено на то, чтобы создать мираж... Все будет, как бывает во сне, а не в жизни. Шмелев чувствует, что его герои не могли бы существовать в реальности и отодвигает их для иллюзии на полвека назад». Адамович, сознательно или нет, игнорировал религиозную составляющую произведения, сводя его к повести о любви и грехе. В замысле автора он усматривал «борьбу за прошлое», за воскрешение «Святой Руси»⁸, хотя именно это произведение Шмелева не дает никаких поводов к такому заключению. Г. Струве полагал, что «ни саму Дариньку, ни ее отношения к Вейденгаммеру нельзя признать убедительными», что тема провиденциальности проведена с чрезмерным нажимом. К частным художественным заслугам автора Струве отнес лишь «прекрасные описательные страницы» и попытку обновления техники романа (в приемах ретроспекции)⁹.

И. Ильин именно роман «Пути небесные» считал едва ли не единственной художественной неудачей писателя (хотя анализировал его с максимально доброжелательных позиций и не раз обсуждал в переписке со Шмелевым процесс его создания). К оценкам Ильина мы еще вернемся, а пока заметим, что в суждениях критиков необходимо отделить объективные наблюдения от субъективных пристрастий и несправедливых упреков, к которым, безусловно, относятся заявления о неправдоподобности героев и фантастичности сюжета: ведь Шмелев описал реальную историю реальных людей.

Роман Шмелева обладает специфическими особенностями, которые выделяют его среди всех других произведений русской литературы того же жанра. Одна из них – ярко выраженная документальная основа, в значительной степени сохранный автором; *главными героями* стали *реальные люди*, выведенные под своими собственными именами. В отличие от художественных произведений исторических и документально-исторических жанров, персонажами являются не выдающиеся личности, а «простые», «обычные» (в социальном смысле) люди. Однако

⁵ Там же. С. 524, 521, 529.

⁶ Там же. С. 128.

⁷ Охотина-Маевская Е. Шмелев и «Пути небесные» // Шмелев И.С. Душа Родины: Избранная проза. М., 2000. С. 545–546, 548.

⁸ Адамович Г.В. Одиночество и свобода. Нью-Йорк, 1955. С. 72–75.

⁹ Струве Г.П. Русская литература в изгнании. Нью-Йорк, 1956. С. 257–258.

в духовном аспекте герой и героиня неординарны и даже уникальны. В духовном реализме «Путей небесных» отсутствует свойственная классическому роману художественная типизация характеров.

Но принципиальное новаторство книги в другом: Шмелев задумал новый тип романа, который был бы основан на сознательно-православном мировоззрении. Он называл его «опытом духовного романа».

Создавая «Пути небесные», Шмелев поставил перед собой две задачи:

- *показать путь обретения веры неверующим интеллигентом;*
- *воплотить образ воцерковленной, глубоко верующей героини.*

В письмах Шмелев неоднократно говорит о том, что его захватило «чудо перерождения. Да, на моих глазах невер – стал вером, до... клобука! Это – действительность. Меня всегда мучил... этот таинственный процесс преобразования... Этот путь всегда меня пытал, нудил – приоткрой ход... познай хоть чуть-чуть, как это делается»¹⁰.

Нельзя сказать, что Шмелев приступал к решению этих задач на пустом месте: русская классика постоянно разрабатывала и вопросы смысла существования, и глубочайшие нравственные коллизии. Но не было книг, базирующихся на последовательно православном мировоззрении, где указанные Шмелевым сюжеты занимали бы центральное место. Поэтому сам писатель считал, что его замысел был новым для отечественной словесности: «Во всей литературе и жизни я не нашел, как становятся верующими... рационалисты. Тут... благодать. Обращение рационалиста кипучего – где?! <...> Ах, какая это задача! И надо ее попытаться решить. И нельзя обойтись без... чуда! Но надо и “чудо” определить. Я не хочу “страха” и “несвободы”»¹¹.

В поисках героев с православным мировоззрением Шмелев также пытается опереться на классику, ищет, но не находит необходимые ему типы. Русская классическая литература как явление культуры широко включена в художественный мир романа. Его герои, жившие в последней четверти XIX столетия, оказались современниками знаменитых литераторов, и Шмелев помещает своих персонажей в идейную атмосферу русской литературы, сознательно ориентируется на сюжеты, коллизии Толстого, Достоевского, Тургенева, Пушкина. В первом томе герои читают «Дворянское гнездо», «Анну Каренину», «Евгения Онегина», во втором – оказываются в Орловской губернии, литературном центре России. Домоправительница их поместья – бывшая дворовая Тургеневых, хорошо знает Лукерью, героиню «Живых мощей». В последующих томах, по замыслу Шмелева, Вейденгаммер должен был встретиться с К. Леонтьевым (в Оптиной Пустыни), с Толстым (в Ясной Поляне), с Тургеневым (в Спасском-Лутовинове)¹².

Интертекстуальность, присущая литературе XX века, – сознательный прием Шмелева, одна из характерных особенностей романа. Сюжеты, коллизии, образы русской классики активизируются в читательском сознании не только благодаря подобным упоминаниям, но и непосредственно в фабуле и персонажах. Л.М. Борисова и Я.О. Дзыга в своей монографии проводят детальное и глубокое сопоставление сюжетно-образной структуры, идейно-художественного мира «Путей небесных» с романами Лескова, Толстого и Достоевского¹³. На схожесть сцен и сюжетных ходов с аналогичными у Достоевского, Тургенева, Толстого указывает и О. Сорокина¹⁴. Эти переключки бросаются в глаза, их можно умножать. Например, во втором томе появляется студент-медик, атеист Ютов – двойник тургеневского Базарова. Но, конечно,

¹⁰ Переписка двух Иванов (1935–1946). С. 393.

¹¹ Переписка двух Иванов (1947–1950). С. 15.

¹² Переписка двух Иванов (1935–1946). С. 377.

¹³ Борисова Л.М., Дзыга Я.О. Продолжение «золотого века»: «Пути небесные» И.С. Шмелева и традиции русского романа. Симферополь, 2000. С. 47.

¹⁴ Сорокина О.Н. Москвиана. Жизнь и творчество Ивана Шмелева. М., 2000. С. 282.

прежде всего ощутимо влияние Достоевского, одного из самых родственных и близких Шмелеву писателей. Уже упомянутые исследователями параллели (Вейденгаммер – Иван Карамазов, Раскольников, Нехлюдов, Лаврецкий; Даринька – Анна Каренина, Соня Мармеладова, Лиза Калитина, Алеша Карамазов) можно дополнить и такими: завязка действия, встреча на Тверском бульваре духовно омертвелого героя с несчастной девочкой, когда проснувшаяся жалость и сострадание спасают и его самого, напоминает сцену на Конногвардейском бульваре в «Преступлении и наказании», где Раскольников, пребывающий в сходном «убитом» состоянии духа, пытается защитить девушку; страшный образ барона Ритлингера, содержащего приют педофилов (в коридоре которого мелькает маленькая девочка в розовом платье), схож со Ставрогиным и главным образом со Свидригайловым (также кончающим самоубийством).

Многочисленные литературные реминисценции носят не только характер знаков, но часто являются элементами *творческой полемики*. Шмелев считал, что русская литература не справилась с задачей показать преображение, воскресение падшего человека: «Провал у Достоевского с Раскольниковым – явный, – ложь и ложь. Соня – ясна, а Раскольников – обманывает себя, нудящий неврастеник... Алеша – от роду – “блаженный”, как Мышкин-юрод. Мне нужен был нормальный “средний” русский интеллигент: как могло у него так выйти?! Я получил лишь “кусочки”, от 2–3 встреч (с Вейденгаммером – А.Л.)»; «Ох, сорвусь на “старце”. Не задался он и великому Достоевскому. Зосима – отвлеченность (схема)»¹⁵.

Размышляя о романе «Идиот», Шмелев называет его и гениальным, и неудачным. Он недоумевает, почему Достоевский нигде не обмолвился о религиозности семьи Епанчиных, почему вывел Аглаю, этот «перл», пустой религиозно. «Где же художественное чутье Достоевского?! Что бы было, если бы он дал Аглае крупицу веры (как у Лизы Калитиной, но та – овца, а Аглая – пыл, порох, огонь!..) Как смят роман!»

В Дариньке Шмелев намеревался показать, «что может русская женская душа, если она деятельно идет от веры, несет Свет! Она ведь – сама Россия»; стремился воплотить образ чистой и сильной духом «женщины-дитя». «Я творю Дариньку почти из ничего. Нащупываю, силуюсь провидеть... правда, исхожу не от литературных образцов, а из своего опыта»¹⁶. Действительно, Шмелев в лице Дариньки воплотил новый для русской литературы тип верующего воцерковленного человека, ведущего напряженную духовную жизнь.

Итак, создавая «Пути небесные», Шмелев сознательно стремился дополнить мир русской классики отсутствующей в нем темой – обретения христианской веры и отсутствующим в ней героем – православным воцерковленным человеком. Свою в известном смысле экспериментальную книгу автор называл «первым опытом православного романа»: «Все должно быть вобрано в ткань эпического романа, духовного романа... Знаю: такое не удалось ни Достоевскому, ни Леонтьеву, ни Лескову, ни Гоголю»¹⁷.

Г. Струве назвал замысел романа почему-то «честолюбивой задумкой» автора¹⁸. На самом деле в истоках замысла книги лежал глубоко личный, но совсем иной мотив. Роман для него – «опыт», поставленный, чтобы ответить самому себе на мучавшие его вопросы: «Я – до сей поры – Бога ищу и своей работой, и сердцем (рассудком нельзя!). Мне надо завершить мой опыт духовного романа...» – признавался он Ксении Деникиной¹⁹.

В отличие от христиан, по типу родственных Б. Зайцеву, спокойно, бесстрастно, с величайшим доверием к Творцу принимавших мир и судьбу, Шмелев всю жизнь находился в горении и борении. Экзальтированная, страстная его натура породила исступленные, на пределе,

¹⁵ Переписка двух Иванов (1935–1946). С. 393; Переписка двух Иванов (1947–1950). С. 16.

¹⁶ Переписка двух Иванов (1947–1950). С. 163, 164.

¹⁷ Переписка двух Иванов (1935–1946). С. 381, 479.

¹⁸ Струве Г. Русская литература в изгнании. С. 257.

¹⁹ Деникина Кс. Иван Сергеевич Шмелев // Шмелев И.С. Душа Родины: Избранная проза. М., 2000. С. 471.

душевно-сердечные переживания (свойственные и его персонажам). Шмелев испытывал максимальный диапазон между радостью Богообщения (в молитве, таинстве) и скорбью переживаний отхода от Бога и от Церкви. «Душу Ивана Сергеевича угнетала постоянная тоска», – свидетельствует Вл. Маевский, видевший Шмелева в 1948 г. в Женеве²⁰. Из исповедальных заметок и писем видно, что он подвергался одному из самых тяжелых испытаний – борению с помыслами, которое в аскетической литературе расценивается как трудный подвиг, и временами переживал мучительное ощущение богооставленности. Эта духовная брань явлена в большом письме к Ильину от 14 марта 1937 года: «Так пусто, так одиноко мне, до ужаса. Бывают дни – места не найду, черная бездна тянет, отчаяние. Пытаюсь молиться, взываю – нет ответа. Этого не высказать, это – вот он, ад на земле!» В этом же письме он делится сомнениями относительно своего романа: «А я в смуте и не знаю, верю ли сам в то, что написано. Двое во мне: и вот, кто, какой во мне писал – этот – верит, в полусне верит, чем-то глубоко внутри – верит. А другой – внешний, при свете дня обычный – мечется и сомневается – да не обман ли, не самообман ли?» И еще ниже – о тайне смерти, о умершей супруге: «...как она тиха, глубока, в тайне, уже познанной... или – в *ничем*? Это ужасно, если... в *ничем*? Этого быть не может, нет, она – в Свете, она – все знает, она – Божья...»²¹

Необычайно чуткий к любому человеческому страданию, Шмелев не мог удовлетвориться богословскими объяснениями наличия зла в мире. Ему нужно было понять это сердцем, проникнуть в тайну замысла и промысла Божия. И в этом он оказывается необычайно близок Достоевскому. Вновь и вновь Шмелева одолевали мучительные раздумья о смысле страданий, о призвании человечества, и его страстные вопрошания к небу близки вопросам Ивана Карамазова, только без богоборческой составляющей. В поисках ответов и создавались «Пути небесные»: «Я не могу понять, *зачем* весь этот “огород” – человечество! И чтобы заглушить это отчаяние, я пробую огашишивать себя... “Путями”... *натаскивать*. Порой я или голый невер, или рязанская старушка, которую не смущают “мысли”. *Я не постигаю* – грехопадения, обреченности *всего* и Искупления! Очевидно, не надо *постигать*. В этом смысле этот-то “ум” – враг. Творцу *все* было ведомо изначально: *зачем* же – все?! Что за *игра*?! Что за *опыт*?! И чего же он стоил, этот опыт?! Лучше бы уж – не он! Вот, как укрытие от сего – этот опыт с “Путями”. Он прежде всего – *мне* нужен».

В том же письме от 27 марта 1946 г. встречаются и такие отчаянные строки: «Мне на многое теперь наплевать. Я и в церковь бросил ходить – читаю, *порой*, Евангелие»²². Но это не убеждение, но, скорее, временная слабость, еще одно свидетельство духовной борьбы с самим собой («Да, я сам – Фома. Тупикую...» – признавался он²³). В ответ на цитированное письмо, полное сомнений и вопрошаний, Ильин старается ободрить друга, не устает подвигать его к православному мироотношению: «Пожалуйста, не думайте, что трагические вопросы мироздания решены в какой-нибудь философии... гениальные умы *трогательно* гадают над загадками Божиими, не более. <...> Самое важное... в том, чтобы постоянно *осязать свой собственный* священный огонь как *подлинное пламя Божие*. Так – в молитве, в акте совести, в создании и восприятии прекрасного искусства и в излучении активной любви. *Там*, и только *там* – в посмертии откроются глаза, а сейчас надо: *живой опыт единения с Ним и живое доверие к Нему*»²⁴.

На это Шмелев отвечает: «Я в “Путях” не философствую, там – другое – там старается невер поджечь веру в себе, т. е. как-то ее ощутить. Даже потрясенный гибелью Дариньки, даже

²⁰ Маевский Вл. Шмелев в воспоминаниях // Там же. С. 491.

²¹ Переписка двух Иванов (1935–1946). С. 172, 175, 178.

²² Там же. С. 395, 396.

²³ Переписка двух Иванов (1947–1950). С. 29.

²⁴ Переписка двух Иванов (1935–1946). С. 398.

приняв постриг, он в полноте не найдет веры – так я его понимаю, представляю. Для веры – надо *родиться*. Это – вера – счастливый билет, *удел*, это – *чудо*, вдруг сотворяющееся... Вера – высшее искусство, высший из даров». «Как зажечь сердце, если оно *сырое* и пропитано аммиаком?! Как раскрыть сердце и принять Господа, если оно нераскрываемо?! Можно только тереться о *святое*... плакаться и вопить – “Боже, милостив буди мне грешному!”²⁵».

Таков был сокровенный мотив создания «духовного романа».

* * *

Какие художественные средства использовал Шмелев для воплощения столь ответственного замысла? Между выходом в свет первого и второго томов прошло 11 лет, и за этот период художественная структура претерпела изменения, в некоторых отношениях существенные. Об этих переменах мы скажем ниже.

Автор-повествователь в первой же строке определяет свою позицию: «Эту *чудесную* историю – в ней земное сливается с небесным – я слышал от самого Виктора Алексеевича, а заключительные ее главы проходили почти на моих глазах», и, таким образом, выступает как свидетель, фиксирующий реальное событие. Это очень распространенный в творчестве Шмелева прием. В этой же фразе сразу постулируется *достоверность чудесного*: история не есть плод творческой фантазии, но лишь пересказана читателю автором.

Большинство произведений Шмелева написано в излюбленной им форме сказа, причем текст представляет собой «монолог», «рассказ» целиком от лица одного героя. Сказ широко присутствует и в «Путих небесных», обретая более сложные, многогранные формы. Шмелев выстраивает многоступенчатую повествовательную структуру, в которой часто чередуются несколько рассказчиков.

Первый повествовательный пласт – речь «от автора», которая то представляет собой пересказ услышанного им от своего героя, то переходит в объективное авторское повествование; второй – прямая речь Вейденгаммера, вводимая с помощью оборотов «Виктор Алексеевич рассказывал...» и т. п. Третий – цитаты из «Записки» Дариньки, составленной ею незадолго до гибели. Шмелев использует и иные, еще более усложненные конструкции – «рассказ в рассказе» второй и третьей степени. Таковы, например, передача устного рассказа Дариньки или подробное «истолкование» Дариньки Вагаевым: их монологи были вначале восприняты Вейденгаммером, затем переданы им повествователю, который и воспроизвел их.

Для чего понадобилось Шмелеву столь сложное построение? В романе звучат голоса разных лиц, описывающих одни и те же события, к тому же главный герой воспринимает их по-разному в зависимости от того, является ли он их современником или оценивает их «много позже», когда он, по его признанию, совершенно изменился. Ретроспективная манера повествования и обусловленный ею полифонизм способствуют раскрытию полной картины событий, установлению подлинных причин и смысла происходящего. Этот смысл открывается Вейденгаммеру лишь много лет спустя, когда он признал реальность Божественного промысла, небесных «планов», начертанных для земной действительности. (В «Куликовом поле» (1939), написанном между первым и вторым томами «Путей небесных», этот прием «расследования» скептиком-позитивистом чудесных, духовных явлений обнажен: героем повести является профессиональный следователь.)

Другая важнейшая причина: дать православную, духовную оценку событий. Такая оценка преимущественно сосредоточена в так называемой «Посмертной записке к ближним» Дариньки: после эпизода или диалога следуют краткие, афористичные цитаты из «Записки» («Я кощунственно оправдывала похоти свои примерами из житий святых. Обма-

²⁵ Там же. С. 402, 411.

нывала и заглушала совесть, прикрываясь неиссякаемым милосердием Господним»), раскрывающие внутреннюю, подспудную суть происшедшего.

Как и в других текстах, Шмелев широко применяет графические выделения слов (разрядка, курсив, кавычки, многоточия, тире) – во-первых, для интонирования речи; во вторых, для того, чтобы сделать акцент на слове, остановить на нем читательское внимание и побудить ощутить в нем особую значительность, скрытый за первым планом глубокий, символический смысл («Даринька почувствовала себя освобожденной от соблазна, как бы *отпущенной*», «после мы все разобрали, и все уложилось в *план*»).

Реплики, записки, замечания героев, которыми насыщен текст, превратились в очень значительный по пропорции *комментарий* к фабульной стороне романа. В прежних произведениях, написанных в сказовой манере, такая особенность компенсировалась цельностью личности и мировоззрения единого рассказчика («Человек из ресторана», «Няня из Москвы» и др.), поэтому изложение событий и собственное их восприятие совмещались органично. Теперь с введением нескольких рассказчиков это качество приобрело избыточный характер. Персонажи постоянно резонерствуют по поводу происходящего, устно и письменно. И. Ильин, необычайно высоко ценивший творчество Шмелева в целом, именно роман «Пути небесные» считал единственной художественно неудачной вещью на том основании, что идея не показывается в образах, а поясняется, высказывается. «*Научение и изображение* состязуются все время в ткани романа. Учительное, кажется, подчас дороже автору; отсюда та пристальность рефлексора, с которой он светит читателю – и в заголовках, и в цитатах из “Записки к ближним», а также из воспоминаний героя, и в психологии других героев”²⁶.

Отвечая Ильину, Шмелев отстаивал художественную оправданность этого приема: «*Это не я свечу*, это мой страстный собеседник, весь взятый тем, что с ним случилось, *мне*, как, может быть, и другим... поясняет, исповедует, чего удостоился! И через *кого*... (все время, по-земному, закрывая Его – самым близким *своим* – своей Дарьей). Это – страстность и – пристрастность. И это мне, писателю-сказывающему, страшно помогает, я как бы “умываю руки” (не виноват, дескать, это – *он так*)»; «Я – *рассказчик*, передаю *рассказ* героя, герой делает отступления, разъяснения, исповедуется, перебрасывается вперед за много до текущих событий его рассказа... как бы *внушает*, обнажает себя, истолковывает Дари свою...» Впрочем, впоследствии Шмелев, называя этот прием «сложнейшим», соглашался, что сам автор должен искать точку равновесия²⁷.

Эта особенность книги Шмелева не может считаться серьезным просчетом: в романах и Достоевского, и Толстого значительные фрагменты посвящены изложению тех или иных идей, которые высказывают не только их герои, но и сами авторы (рассказчики). Более серьезные претензии Ильина, касающиеся образа Дариньки, о которых пойдет речь ниже.

Своеобразен пространственно-временной континуум действия романа. События расписаны по календарю и часто имеют вполне конкретную датировку. Действие начинается «в конце марта 1875 года, под Великий Понедельник», когда встретились герои (здесь допущена неточность: Великий Понедельник пришелся в том году на 7 апреля), а завершается (во втором томе) 31 июля 1877 года. Упоминаемые в тексте конкретные даты и дни недели («19 марта, день памяти мучеников Хрисанфа и Дарии, – было это Великим постом, в субботу») – несут двойную нагрузку. Они служат для усиления документальности, чтобы еще раз подчеркнуть, что речь идет о действительных лицах и событиях. Часто указывается конкретный церковный праздник или его канун. Напомним, что одновременно с первым томом романа Шмелев продолжал «Лето Господне», где рисовал бытие, освященное церковным календарем. Писателю

²⁶ Там же. С. 387.

²⁷ Там же. С. 392–393, 478–479, 528.

важен сакральный смысл происходящего, и Даринька постоянно связывает те или иные праздники с Божественной помощью или благим вмешательством святых.

Пространственной и сюжетной доминантой романа становится *монастырь*. Весь художественный мир «Путей небесных» пронизан атмосферой монастырской жизни, ориентирован на нее. Завязка действия происходит у стен монастыря и под монастырский благовест. В монастыре Вейденгаммер получает первое представление о подлинном лике православия. В монастыре покоится прах наставницы Дариньки, матушки Агнии, которая является ей в видениях и могилку которой часто навещает Даринька. В самые напряженные, искусовые моменты в жизни героини (как в эпизоде метельного наваждения с Вагаевым) спасительной вертикалью проступают очертания монастыря. В Троице-Сергиеву Лавру, к старцу Варнаве, Даринька отправляется за разрешением своей судьбы. В видении ей показаны «большие монастыри», становящиеся явью, когда во втором томе героини действительно переезжают в окрестности Оптиной и Шамординской обителей. Напомним, что реальный Вейденгаммер стал монахом Оптиной Пустыни, и Шмелев надеялся проследить его путь до этого момента.

Героиня романа Даринька – сирота, с детства воспитывавшаяся в строгой церковной дисциплине, ставшая послушницей Страстного монастыря. Хотя она и вышла из обители, связав свою судьбу с Виктором Алексеевичем, но и в миру осталась по сути «без ряски, а монашка». Дело не только в хранимой ею любви к монашеству и паломничествам, но в самой сути ее духовной жизни, внутреннего устройства. В православии монашество и жизнь в миру направлены к одной цели – соединению с Богом, имеют один идеал. «Каждый христианин должен, если того пожелает Господь, отказаться от любых земных связей и привязанностей, и даже от своей жизни... – утверждает епископ Александр (Семенов-Тянь-Шанский) в своем «Катехизисе». – Монашеская жизнь отличается поэтому от общехристианской не каким-либо особым качеством, а только особой, не всем доступной напряженностью в устремлении к Богу»²⁸. И в этом смысле каждый православный, ищущий Царства «не от мира сего», является в какой-то степени «монахом без ряски», иноком (т. е. «иным» этому миру), или, как говорят о Дариньке, живет «и без обители в обители».

Даринька – весьма редкий в художественной литературе тип православного церковного человека. Шмелев раскрывает самые глубины духовной жизни героини, для которой вера не идея, приложимая к жизни внешним образом, но основа бытия, пронизывающая все ее существование.

В объективном изобразительно-художественном пласте Даринька – живая натура, не чуждая ни греховных помыслов, ни мирских пристрастий. Спектр ее человеческих немощей простирается от более или менее невинных женских слабостей («Даринька уловила в зеркале, что гранатовые серьги резки при голубом, и сменила на изумрудные», любви к «шоколадным конфетам с ромом» до страсти вождения («увидала в зеркале тревожное и чудесно-жуткое – не ее! – лицо, с томными-страстными глазами, с обмякшим ртом, кинула на грудь косы и жадно пошла на зов»). Подозревая Вейденгаммера, она может упрекать его в подлости далеко не в благочестивых выражениях: «Уехал... обманно в Петербург, обласкал письмом, а сам в то же время снюхивался с прежней своей, “законной”, и хочет откупиться!» Более того, мучительная ревность заставляет ее постоянно желать смерти законной супруге Виктора Алексеевича (впоследствии Даринька каялась в этом тягчайшем, по ее словам, грехе). Ее влекут и могут временно ею завладеть разнообразные соблазны мира сего, ей кружат голову цветы, наряды, драгоценности, театры, бега, от всего этого она «в восторге», как и от обольстительного гусара «в жгутах, в снежно-крылатом ментике». Но важно то, что она воспринимает это как «соблазны» и «искушения» и сопротивляется им, собирая всю свою волю и прибегая к помощи Божией.

²⁸ Александр (Семенов-Тянь-Шанский), еп. Православный катехизис. Кенигсбах, [б.г.]. С. 94.

Осознание, «опознавание» греха и противостояние ему с использованием всех средств, предоставляемых христианством, и есть *жизнь православного христианина*.

Главное в образе Дариньки – ее глубокая *воцерковленность*. Отражение *церковного бытия христианина* – новое для русской литературы явление. Даже в романах Достоевского, где гениально раскрыты многие аспекты христианского мировоззрения и христианской этики, персонажи слабо связаны с живым телом Церкви. Они размышляют о Боге, исполнены деятельной любви, но на страницах его романов они практически не совершают молитв, не участвуют в богослужении и как будто не знают о существовании церковных таинств.

Воцерковленное бытие впервые нашло широкое отражение в книге Шмелева «Лето Господне». В «Путих небесных» оно получает углубленное выражение. Для Дариньки молитва становится первым и главным делом жизни. Она стремится к тому, чтобы иметь постоянное «памятование Бога», хотя до достижения этого ей еще далеко. Молитва в романе Шмелева представлена не как сентиментальные вздохи, жалобы или средство самоутешения. В попытках показать молитвенные состояния человека подлинный духовный христианский опыт зачастую подменялся психологическими схемами. Молитва в «Путих небесных» раскрывается как труднейшее дело, как настоящий подвиг. Даринька вспоминает: «В ту ночь сколько я становилась на молитву, но не могла побороть мечтания»; «Матушка мудро меня наставила. <...> “А ты повздыхай покорно, доверься Господу, даже и не молись словами... *оно* и отметется”. И я получила облегчение».

Но Даринька знает и другой, противоположный опыт: «...мысли не отметались, мучили. И чем напряженнее молилась, не разумея слов, налетали роями мысли, звуки. Она гнала их, старалась заслонить словами, напрягалась, – и слышала голоса и пение: все, что видела эти дни, повторялось назойливо и ярко. <...> И, помня, – “егда бесы одолевают помыслы”, стала читать “запрещальную”. <...> Горячо молилась, страстно, но страстные помыслы одолевали до исступления». Здесь мы встречаемся с одним из замечательных по точности описаний внутренней борьбы человека с искушающими помыслами. Пожалуй, ни в каком другом художественном произведении не раскрыта столь глубоко суть православной аскетики – науки о невидимой борьбе со страстями и помыслами, с тяжестью плоти и мирскими соблазнами.

«Душа ее... сделалась полем брани между Господним Светом и злою тьмой», по точному определению Шмелева, имевшего наверняка в виду знаменитую формулу Достоевского. Собственно, *духовная брань* Дариньки и является основным сюжетом первого тома романа, где героиня проходит через многочисленные соблазны, искушения, скорби, падения; познает и духовные радости и победы. Сложнейшие движения человеческой души, для которых классическая литература в лице Тургенева, Толстого, Бунина или Чехова находила психологическое объяснение, Шмелев раскрывает с позиций святоотеческого наследия, в категориях православной антропологии, и за поверхностью душевно-телесной жизни выявляет глубинную духовную жизнь души. В романе представлено и все многообразие молитвенных состояний – от бесчувственной сухой молитвы до благодатных озарений, а также те ступени, по которым грех проникает, вселяется и укореняется в сердце. Духовную суть того, что происходит с Даринькой, отражают названия глав: «Прельщение», «Злое обстояние», «Обольщение», «Помрачение», «Исступление», «Прелесь», «Вразумление» и т. п. Эти слова, могущие вызвать недоумение или ироничную усмешку у человека, далекого от христианской культуры, на самом деле являются хорошо известными терминами христианской антропологии, изучившей все приемы врага в попытках введения души в грех. Согласно святоотеческим воззрениям, опытно подтвержденным, человек проходит через ряд стадий, прежде чем совершает грех непосредственно делом. Практически все эти ступени проходит Даринька – лишь от последнего «падения делом» ее спасает случай.

Шмелев расставляет тонкие акценты в душевных состояниях христианина: «*Мучаясь, что грешишь*, она положила голубой шарфик под подушку». Осознание греха, даже при отсут-

ствии воли воспротивиться ему, нежелание оправдывать себя – эти моменты говорят о глубоком понимании автором внутренней жизни верующего человека.

Духовная жизнь христианина в «Путях небесных» далека от упрощенных схем «согрешил-покаялся». Хитер и изворотлив враг в введении человека в грех, страсть одолевается не вмиг, возвращается с прежней силой. Вот Даринька, казалось бы, уже преодолевшая соблазн, уже «отпущенная», приходит в церковь, но вдруг знакомый аромат цветов порождает в ней новую греховную волну: «Даринька... не могла молиться. Пахло ландышами и здесь, – и *то*, что тревожило-таилось, молитвой неотметенное, начинало ее томить». В «Записке» Дариньки описано и состояние омертвения души – «уныние», оставленность человека наедине со злом: «Темное во мне творилось, воля была вынута из меня, и сердце во мне окаменело. <...> В те дни я не могла молиться, сердце мое смутилось, и страсть обуяла тело мое огнем».

Среди многочисленных соблазнов, которые пришлось испытать Дариньке, Шмелев описывает и такое весьма тонкое искушение, как «впадение в прелесть» – состояние духовного самообмана, принятие лжи и неправды за истину, чрезвычайно опасное в силу того, что человек не сознает, что находится в нем. Чудесное спасение Дариньки вместе с гусаром Димой Вагаевым в метель кажется Дариньке «явным указанием Господним»: «Еще до того, как увидеть искру в метельной мгле, Даринька вообразила себя как бы “духовно повенчанной”. Ну да, с Димой. <...> И вот искушающая прелесть как бы подменилась чудом. В метельной мгле <...> ей казалось, что она с Димой – Дария и Хрисанф, супруги-девственники, презревшие “вся мира сего сласти”, и Бог посылает им венец нетленный. <...> Восторженная ее голова видела в этом “венчании” давно предназначенное ей».

Шмелев очень достоверно описывает борьбу христианина с темными духами злобы, их коварство, хитрость. Страсть Дариньки к Вагаеву стимулируется через систему подмен, тонких обманов. Даринька вроде бы преодолевает соблазн, молитвой освобождается от помыслов, но позже искушение возвращается с удвоенной силой, она снова борется, изнемогает, испытывает чувство богооставленности... Шмелеву важно показать, что человек своими силами не может справиться с напастью, от позорного падения Дариньку ограждает случайность, которую, однако, она вслед за автором воспринимает как спасительный знак Божий.

Мотивы «прелести», «соблазна» вплетаются в историю взаимоотношений трех главных персонажей – Дариньки, Виктора Алексеевича, Димы. Характерно, что Дима, не осознавая того, выступает как орудие злой силы, желающей погубления Дариньки. Интересно раскрытие Шмелевым темы любви (в «романическом» значении). Наряду с подлинной, духовной любовью, отличающейся постоянством и жертвенностью, в романе описана и любовь «душевная» – мощная *страсть*, захватывающая человека и уводящая его от истинной любви. Сколь часто художники поэтизировали именно эту страсть и видели высшую свободу человека в таком состоянии, когда он с точки зрения христианства находится в полном пленении грехом. Героям Шмелева эта страсть в конечном итоге открывается как прямое наваждение темных сил. Подлинная любовь в романе всегда просветленна, жертвенна и причастна любви Божественной²⁹.

Важнейшая тема романа – смиренное следование человека, преодолевшего самость и гордыню, Божественной воле. Героям приоткрывается непостижимая тайна Промысла. Однако «пути небесные», которые ведут героев, не определяют фатально их судьбу, воля человека остается свободной; многочисленные знаки, вразумления, неслучайные «случайности», которыми насыщен роман, являются, скорее, подсказками и предложениями верного пути – но выбор остается за человеком.

²⁹ Любовные перипетии «Путей небесных» близки «Анне Карениной». О. Сорокина отмечала, что эхо «Анны Карениной» «звучит в романтической интерлюдии Дариньки и блестящего гусара Вагаева, вплоть до сцены зимних бегов на Пресне и неудачи с конем гусара» (Сорокина О.Н. Московянина. С. 282). Страсть Дариньки в Вагаеву, как и страсть Анны к Вронскому, квалифицируется писателями как «искушение злой силы» (Борисова Л.М., Дзыга Я.О. Продолжение «золотого века»: «Пути небесные» И.С. Шмелева и традиции русского романа. С. 56).

«Во всем, что случилось с ним и с Даринькой, виделся ему как бы *план*, усматривалась “Рука ведущая”, – даже в грехопадениях, ибо грехопадения неизбежно вели к страданиям, а страдания заставляли искать *путей*».

Порой совершающиеся события кажутся для мирского разума безумием, бессмыслицей и даже трагедией. Но спустя некоторое время открывается их спасительный смысл. Вспоминая минувшее, Виктор Алексеевич говорит: «...главная наша слабость – духовная близорукость наша: мы почти всегда пребываем в “помрачении”, как бы без компаса, и сбиваемся с верного пути. Прозреваем ли смысл в мутном потоке жизни? Мы чувствуем лишь миги и случаи, разглядываем картину в лупу – и видим одни мазочки. И часто готовы читать отходную, когда надо бы петь “Воскресе”, – и обратно. Люди высшей духовности острым зраком глядят на жизнь, провидят, и потому называем иных из них прозорливыми. Они прозревают *смысл*».

Один из таких прозорливцев – старец Варнава. Встреча с ним героини играет важнейшую роль и в ее судьбе, и в общем действии романа. В критическую минуту, близкая к отчаянию от тяжести собственного греха, Даринька бросается к о. Варнаве, и тот в беседе с нею не только утешает ее, но и распутывает клубок гнетущих ее сомнений и предуказывает ей путь – терпеливо нести крест, не оставлять Виктора Алексеевича: «В монашки хочешь... а кто возок-то твой повезет? Что он, без тебя-то, победитель-то твой?.. Потомись, потомись...»

Вези возок. Без вины виновата, а неси, вынесешь...» В последующем развитии романа Даринька свято хранит в своем сердце послушание, данное ей старцем.

Слова старца не оправдывают незаконный брак, но призывают обоих героев к терпению и духовной высоте. Понимая это, Даринька отвергает попытки Виктора Алексеевича как-то упростить их смысл, облегчить свою совесть. Невозможность обвенчаться для Дариньки – постоянная мука.

Облик знакомого Шмелеву «батюшки-утешителя», его исполненные ласки и любви речения («хорошая какая, а сколько же у тебя напутано!») воссозданы так же, как в «Богомолье». Однако, в отличие от «Богомолья», где Шмелев описал свою реальную встречу с батюшкой, поездка Дариньки к старцу и его беседа с ней являются, скорее всего, художественным вымыслом, тем более что «послушание», приписанное автором старцу Варнаве, не находит аналогий в опыте православного духовничества. В жизнеописании старца приводится много советов, иногда парадоксальных, но нет ни одного, хотя бы отдаленно напоминающего тот, который он дает героям в романе. В аналогичных ситуациях старец своими наставлениями и молитвой всегда оберегал святость венчанного брака, восстанавливал его. Вот несколько примеров:

«Приехал к иеромонаху Варнаве “на Пещеры” из Кронштадта полковник с женой. Оба они хоть и жили под одной кровлей, но были совсем чужие друг другу, имея тайные связи на стороне. Не утаилось это от прозорливого старца, и он, взяв обоих за руки, прямо сказал им, чтобы порвали они свои противозаконные связи, простили бы друг друга и впредь ни одним словом не напоминали бы себе о своем прошлом». Другую женщину, пришедшую просить благословения на развод с истязавшим ее мужем, он утешил и обещал, что «он скоро, очень скоро будет на коленях просить прощения у тебя во всем», что и сбылось³⁰.

Герой романа, инженер Виктор Алексеевич Вейденгаммер, – типичный скептик-интеллигент 1870-х гг. (время действия романа), «никакой» по вере, мучается от сознания невозможности постичь высшие законы Вселенной. В лице Дариньки он встречается с новым, совершенно незнакомым ему миром. Для него начинается путь прозрения, «путь из тьмы к свету», но этот путь труден и мучителен, полон сомнений. В судьбе героя, несомненно, отразились черты духовного становления самого Шмелева.

³⁰ Георгий (Термитников), архимандрит. Преподобный Варнава, старец Гефсиманского скита. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1996. С. 84, 85.

Столкновение захваченного мирскими искушениями материалиста с атмосферой чистоты и святости происходит уже в начале романа, в сцене посещения Вейденгаммером Страстного монастыря. Герой направляется в обитель с набором устойчивых мирских представлений о монашествующих как ханжах и лицемерах, эгоистах и тунеядцах, тайных обжорах и блудниках. Эта неприязнь вызвана и собственной порочностью героя. Представляя себя «искусителем», он с наслаждением предвкушает, как обманет старух-монахинь. Но неожиданно для себя вместо «тунеядок» и «ловкачек» встречает в обители такой мир благостной тишины, «целомудренный и благодатный», такое неподдельное смирение, доверчивость и лучезарную доброту матушек, что у него «расплавляется сердце»: «Я ощутил вдруг <...> что все эти девушки и старухи выше меня и чище, глубже <...> Простые слова, самые ходячие слова, сказала матушка Агния, но эти слова осветили всего меня, всю мерзость мою показали мне. Передо мной была чистота, подлинный человек, по образу Божию, а я – извращенный облик этого «человека». <...> То, *темное*, вырвалось из меня <...> испарилось от этих душевных слов».

Благодаря Дариньке Виктор Алексеевич постепенно входит в мир православной культуры и с удивлением обнаруживает в нем глубину прозрений, точность в понимании человеческой личности: «Даринька знала все молитвы, псалмы, читала тетке Четьи-Миней. <...> Эта культура, с опытом искушений и подвигов из житий, с глубинной красотой песнопений... оказалась неизмеримо глубже, чем та, которой я жил тогда. С такой закваской она легко понимала все душевные тонкости и “узлы” у Достоевского и Толстого, после проникновенных акафистов и глубочайших молитв, после Четьих-Миней, с взлетами и томлениями ищущих Бога душ».

Вейденгаммер, однако, в первых томах остается скептиком и рационалистом. Мир веры только начинает приоткрываться ему. Пытаясь постичь таинственные законы мироздания, он как инженер представляет себе мироустройство в понятиях и терминах своей профессии, сугубо рационалистических: «планы» и «чертежи» человеческих судеб видятся ему «вычерчиваемыми» некой над мирной волей. Шмелев сообщал в заметках к роману, что сомнения будут мучить этого персонажа долго и его обретение веры должно будет произойти много позже (так это было и в действительности: реальный Вейденгаммер после смерти Дарьи поступил в монастырь «неверующим»).

Интересно замечание И. Ильина, внимательно следившего за ходом создания романа, по поводу попыток Вейденгаммера постигнуть Бога рационалистическим путем: «Вы философствуете не тем актом, которым художествуете; и отпустили свой этот другой акт в Виктора Алексеевича, в коем сей акт, воплотившись, окостенел и “тупикствует”. <...> Кто ищет Бога, тот должен влюбленно хотеть совершенства, созерцать из горящего сердца, жить совестью и подчинить всему этому свое нечувственное воображение. Человек, тупикующий в конструктивном понимании, Бога не найдет. Бог не выдумывается, не выкомбинировывается, не гипотезируется в “бесконечности”, не исчисляется – а любит, любовью видится, совестью любовью осуществляется»³¹.

Ильин тактично подсказывает Шмелеву пути развития характера, и сегодня трудно сказать, последовал бы Шмелев этому совету, если бы закончил роман.

* * *

Сопоставление героев «Путей небесных» с характерами и нравственно-психологическими коллизиями русской классики детально выполнено в работах О. Сорокиной, А. Черникова, М. Дунаева, Л. Смирновой, Я. Дзыга в отношении таких художников, как Достоевский,

³¹ Переписка двух Иванов (1947–1950). С. 18, 20.

Лесков и Толстой. Остановимся на сходстве и различии с сюжетными перипетиями и характерами «Дворянского гнезда».

Типологически родственны коллизии двух произведений: любовь юной, глубоко верующей девушки к мужчине – скептику и индифферентному к религии, препятствие к их браку – невозможность развода с женой, расчетливой и развращенной, живущей в другом городе. Даринька выходит из монастыря, оставаясь, однако, «без обители в обители», Лиза уходит в монастырь.

Делясь с корреспондентами замыслом своего романа, Тургенев сообщал: «Я теперь занят большой повестью, главное лицо которой, – девушка, – существо религиозное»³². Для обоих писателей задуманный образ героини носил характер эксперимента. Но если для Шмелева Даринька была воплощением его собственного заветного идеала, то Тургенев как художник заинтересовался типом личности с религиозным мироощущением, который был редким, если не исключительным в образованном классе русского общества, где «христианами» именовали себя все, но воцерковленными, опытно исповедующими веру были немногие.

Оба романа передают атмосферу идей, в которой проявление религиозности со стороны образованного человека вызывает недоумение окружающих. Для Лаврецкого, например, удивительно, что Лиза ходит к обедне, и он спрашивает: «Разве она богомольна?»³³ Весьма характерны особенности словоупотребления: в середине XIX века человека, посещающего храм и молящегося Богу, то есть исповедующего православную веру и словом, и делом, называли «богомольным», или (как это делал сам Тургенев) «религиозным существом». Можно сказать, в структуре общественных и нравственных связей слой «богомольных» носил выраженный маргинальный характер. Такой же видится и Даринька Вейденгаммеру.

«Дворянское гнездо» наполняют и другие характерные приметы идейной атмосферы 1840-х годов (время действия романа): няне приходилось водить Лизу к заутрене «тайком», а церковное воспитание – чтение житий, хождение в храм – оказывалось смесью «запрещенного, странного, святого»³⁴. Это показательные слова: мир благодати, таинств, богослужений, в полном смысле слова мир *святости*, становился *странным и запретным*. (Напомним характерный эпизод: мать Тургенева, разгневавшись, отменила пасхальную службу в усадебной церкви.) Совершенно естественно, что в такой атмосфере желание посвятить себя Богу, принять постриг, вызывает однозначную реакцию домашних Лизы: «больна, бредит, надо послать за доктором»³⁵.

Зайдя в церковь, Лаврецкий наблюдает там не «прихожан», не «православных», не «верующих», но опять же «*богомольцев*». Кто же они? В памяти всплывают замечательные персонажи «Лета Господня», «Богомолья»; но в тургеневской прозе ассоциации существенно иные. Обратим внимание на кумулятивное нарастание эпитетов: «Дряхлая старушонка в ветхом капоте с капюшоном стояла на коленях подле Лаврецкого и прилежно молилась; ее беззубое, сморщенное, желтое лицо выражало напряженное умиление; красные глаза неотвратимо глядели вверх, на образа иконостаса; костлявая рука беспрестанно выходила из капота и медленно и крепко клала большой широкий крест»³⁶. В церкви, проповедующей, казалось бы, воскресение и жизнь вечную, обретается символ смерти, воплощенной мертвенности: чего стоит жутковатая деталь – медленно появляющаяся из-под капюшона костлявая длань. Даже если отнести это восприятие к герою, нет сомнения, что в нем присутствует доля и собственно авторского.

Диалоги Лаврецкого и Лизы напоминают разговоры Вейденгаммера с Даринькой:

³² Письмо к Е. Ламберт от 3 января 1858 г. Цит. по: *Тургенев И.С.* Романы. М., 1970. С. 291.

³³ *Тургенев И.С.* Романы. М., 1970. С. 194.

³⁴ Там же. С. 247.

³⁵ Там же. С. 283.

³⁶ Там же. С. 278.

«Лаврецкий начал уверять Лизу, что... он глубоко уважает всякие убеждения; потом он пустился толковать о религии, о ее значении истории человечества, о значении христианства...

– Христианином нужно быть, – заговорила не без некоторого усилия Лиза, – не для того, чтобы познавать небесное... там... земное, а для того, что каждый человек должен умереть»³⁷.

Как и для бывшего студента физико-математического факультета Лаврецкого, так и для инженера Вейденгаммера христианство – некая теория, одна из научных гипотез, объясняющая мир. Оба они далеки от личного исповедания веры, и люди верующие вызывают у них чувство недоумения и любопытства («ваш Бог», – говорит Лаврецкий Лизе). Для Дариньки Королевой, как и Лизы Калитиной, христианство – прежде всего практика, реальный опыт, сама жизнь. Горячее желание обеих – пробудить такую же веру в своих любимых («Лиза втайне надеялась привести его к Богу»), побудить их к покаянию, отмолить их грех.

Путь обретения веры у обеих героинь был недраматичен. Основы истовой религиозности были заложены в них в детстве глубоко церковными воспитательницами.

«Дворянское гнездо»: «Агафья... мерным и ровным голосом рассказывает житие Пречистой Девы, житие отшельников, угодников Божиих, святых мучениц... Агафья и молиться ее выучила. Иногда она будила Лизу рано на заре, торопливо ее одевала и уводила тайком к заутрене...»³⁸

«Пути небесные»: «Воспитывала ее тетка, из духовных, водила ее по богомольям, учила только церковному. Даринька знала все молитвы, псалмы, читала тетке Четвы-Минеи».

Молитвенные предстояния Лизы увидены не изнутри, а извне, глазами тетушки Марфы и Лаврецкого, который, как и Вейденгаммер, стремится в церковь лишь для того, чтобы встретить там свою избранницу. («Лиза, как стала, так и не двигалась с места и не шевелилась; по сосредоточенному выражению ее лица можно было догадаться, что она пристально и горячо молилась». – Вейденгаммер «вошел в теплый и полутемный храм, пропитанный душно ладаном... И увидел ее: она горячо молилась, на коленях».)

Но если сокровенная внутренняя жизнь Лизы остается тайной как для других героев, так и для автора («Что-то было в Лизе, куда он проникнуть не мог»)³⁹, то все душевные движения Дариньки, ее молитвенные переживания подробнейшим образом описываются на страницах «Путей небесных».

Правда и цельность характера Лизы в том, что ей с детства был присущ монашеский настрой. Ее кредо: «Все в Божьей власти», ее глубокая убежденность: «счастье зависит не от нас, а от Бога»; «она любила одного Бога восторженно, робко, нежно». Историю неудавшейся любви к Лаврецкому она сразу же осознает как наказание.

Характерно, что Лиза уходит в монастырь не из-за банальной «несчастной любви». Главное ее побуждение подлинно христианское: «Я молилась, я просила совета у Бога... Я все знаю, и свои грехи, и чужие, и как папенька богатство наше нажил; я знаю все. Все это отмолить, отмолить надо»⁴⁰.

Лиза остается неким феноменом, привлекательным, но внутренне неблизким как для действующих лиц, так и для автора, который пытался, подчас мучительно, постичь тайну верующей души. Позиция писателя – недоумение, раздумье, очевидная грусть при созерцании судьбы героини, ушедшей от мира. Важными в философии тургеневского романа являются категории «счастье/несчастье», внеположные православному миропониманию. Действие Божественной воли в мире, присутствие Промысла в судьбах героев не актуализируются и даже не подразумеваются. И если в «Дворянском гнезде» человек и мир осмыслены в рамках секуляр-

³⁷ Там же. С. 220.

³⁸ Там же. С. 247.

³⁹ Там же. С. 236.

⁴⁰ Там же. С.241, 272, 248, 271, 283.

ного сознания, то в «Путях небесных» – православного мировоззрения. Роман Шмелева отличается тем «духовным видением», которого не хватало, по мнению Ильина, Тургеневу⁴¹.

Как ни странно, но характер Лизы не устраивал Шмелева (в свете его художественных задач) именно выдержкой, терпеливостью и глубиной смирения. Определяя Лизу как «овцу», он противопоставлял ей Аглаю Достоевского, которая вся – «пыл, порох, огонь»⁴². Действительно, в природной натуре Лизы изначально ослаблена страстность, что и помогает ей относительно быстро преодолевать искусовые помыслы. Шмелеву же нужны были натуры яркие, с выраженными контрастными эмоциональными состояниями. Так появилась героиня его романа, подстать страстям которой и сила соблазнов, мучающих ее.

* * *

Для понимания специфики художественного метода Шмелева интересно выяснить, какова степень аутентичности героев прототипам, насколько авторский вымысел отошел от реальной основы. Вейденгаммер – единственный персонаж, о котором сохранились некоторые документальные сведения. Источники достаточно подробно освещают монашеский, оптинский период жизни Виктора Алексеевича и его кончину. Что касается Дариньки, то, как писал Шмелев, он творил Дариньку «почти из ничего», это редкий в его творчестве случай, когда персонаж в значительной степени сконструирован автором. Конкретных сведений о ней, вероятно, у Шмелева было немного. Интереснейшие и поучительные судьбы реальных Вейденгаммера и Дарьи Королевой изложены в отдельной статье – приложении к настоящей книге.

Одна из глав «Путей небесных», «Крестный сон», позволяет увидеть процесс работы Шмелева над документом, который он ввел в роман в художественно переработанном виде. Сон, в котором Даринька увидела себя распинаемой на кресте, определен как «провиденциальный», предрекающий Дариньке великую скорбь и великое утешение. Вейденгаммер сообщает автору, что он оказался удивительно похож на сновидение Павла Тамбовцева, рассказанное им своему учителю оптинскому старцу Леониду (в схиме Льву) и изложенное в жизнеописании старца, и делает вывод о существовании «вечных», одинаковых снов, дающихся разным людям в разное время.

Сопоставление текстов приводит к выводу, что сновидение Дариньки изложено Шмелевым в буквальном соответствии с опубликованным сном Тамбовцева, внесены лишь незначительные стилистические изменения. Об этой переработке дает представление, например, сравнение фрагментов:

Тамбовцев: «Предложены были четыре гвоздя, каждый не менее как в четверть аршина, и тогда начали мне прибавать одним из них правую руку ко кресту. Здесь я ощущал величайшую боль, хотя и желал в душе своей желание быть распятым».

Шмелев: «Гвозди были большие, в четверть, и она почувствовала, как трепещет сердце. И услышала, что прибавают правую ее руку ко кресту. Она ощутила жгучую боль в ладони, будто оса ужалила, и с этой болью почувствовала желание быть распятой».

Повторены и речения «невидимого нежного голоса», и ощущения, переживания распинаемого. Шмелев только корректирует несколько архаичную и местами многословную речь Тамбовцева:

Тамбовцев: «Мгновенно открылись мои глаза; но я ничего более не ощущал, кроме того, что я на кресте. Сердце же мое бедное восхищено было и преисполнено толикою сладостью,

⁴¹ Переписка двух Иванов (1947–1950). С. 397.

⁴² Там же. С. 163.

что того неизобразимого веселия ни тысяща великих умов, ни сам я испытывавший выразить не в состоянии»⁴³.

Шмелев: «И тут открылись ее глаза, и сердце наполнилось радостью, которую не сравнить ни с чем».

Документально-исповедальный текст художник дополняет образными сравнениями: «величайшая боль» претворяется в «боль... будто оса ужалила», крест «из приятного, желтого строевого дерева» – в «крест, будто из воскового дерева, очень приятного, светлого, как соты»; «гвозди» дополнительно охарактеризованы как «кузнечные, темные, с острыми ребрами».

Отсутствуют в оригинале упоминание о равнине, явленной Дариньке в начале сна, и слова: «Се, причастилась Господу» – в завершении его.

По замыслу Шмелева этот сон и небесный голос Даринька должна была вспомнить перед кончиной в Средней Азии, узнав в каменистой равнине показанную ей в сновидении⁴⁴.

Характерно, что описание видения Шмелев предваряет упоминанием о предостережении святых отцов о «прелести», в которую можно впасть при внимании к снам, но далее подтверждает небесное происхождение Даринькиного сна словами из ответа старца Леонида Тамбовцеву⁴⁵, воспроизведенными практически дословно: «Бесы могут представить и Ангела света, но Креста Господня трепещут и не могут его представить».

Мнение старца, что реальный сон действительно послан Павлу Тамбовцеву Господом и предвещает великую скорбь, подтвердилось дальнейшими событиями: отец молодого человека покончил с собой, от переживаний Павел заболел и скончался 26 лет. В «Путьях небесных» другие сны Дариньки столь детально не излагаются, передается лишь их суть (причем крест в них уже не фигурирует), однако предостережения подвижников о сугубой трезвости и о недоверии к всякого рода снам, явлениям, голосам уже не принимаются во внимание ни героиней, ни Вейденгаммером, ни автором-рассказчиком. Следствием этого станет духовная деформация характера.

* * *

Метод Шмелева, безусловно, можно определить как *духовный реализм*: он воссоздает духовную составляющую человеческой личности; отражает реальность присутствия Бога в мире, реальность Промысла, его спасительного действия в судьбах героев.

Однако же столь высокое определение требует применения столь же высоких и строгих критериев. Объективность заставляет признать, что роман местами отклоняется от художественного воплощения собственно православного мира и характера.

Прежде всего это касается Дариньки, эволюции ее образа, наметившейся еще в первом томе, при внимательном чтении которого невозможно проигнорировать упоминания о том, что она – человек, отличный от других людей *по природе*, особенный, необыкновенный. Избранность, исключительность героини видится в двойственности ее натуры, соединяющей человеческое, земное и нечто из мира высшего: «В ней была чудесная капля Света, зернышко драгоценное, *оттуда*, от Неба, из Лона Господа», – замечает Вейденгаммер, ему вторит Вагаев: «Все мы ищем незаменимого, и я нашел... вас нашел, ангел нежный... в вас неземное обаяние... в вас – святое... особенная вы, вы сами себя не знаете, кто вы».

⁴³ Жизнеописание оптинского старца иеромонаха Леонида. Издание Оптиной Пустыни, [б.г.]. Репринт издания 1876 г. С. 203, 205.

⁴⁴ См.: *Кутырина ЮЛ.* «Пути небесные»: Заметки к третьему ненапечатанному тому // Шмелев И.С. Собрание сочинений в 8 т. М., 1998. Т. 5. С. 453, 471.

⁴⁵ Жизнеописание оптинского старца иеромонаха Леонида. С. 207.

Неотмирность проявляется не только в постоянных эпитетах «святая», «чистая», которыми сопровождают ее восторженные поклонники. И сама «Даринька сердцем понимала, что она как бы вынута из Жизни, с большой буквы, и живет в темном сне, в «малой жизни»: она прозревала знаки, доходившие к нам *оттуда*. Пребывающая «в этом мире как во сне» Даринька предстает как ангельская душа, залетевшая в грустный мир земли, как нечто идеальное, погруженное в материальную стихию.

Это двоимирие, воспринимаемое как поэтическая метафора при беглом чтении, при более внимательном обнаруживает более глубокий, религиозно-философский смысл. Если обратиться к запискам и письмам Шмелева, нетрудно убедиться, что «двоимирие» героини было сознательной художественной установкой Шмелева. «Для Дариньки наша действительная жизнь, наша реальность – сон, она как бы во сне – в этой жизни, не живет, а “спит”... А за этой жизнью... есть для нее как бы “лик скрытый” – ее “подлинная жизнь”, мир внутренних видений, чуждый, – реальнейший и повелительный для нее... Ее происхождение – от двух корней: в ней на две трети существа от святых, от духовности; на одну треть – от плотского, от страстей, от крови.

От прелюбодеяния, от смешения родилась носительница двух начал»⁴⁶.

Как можно расценить эти постулаты с точки зрения христианской онтологии? Двоимирие противоречит православному представлению о «вечности-в-настоящем», о одухотворении земного, о Божественных энергиях, пронизывающих земное бытие. Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом – этот призыв относится к каждому человеку, и не «частица Божественной материи», но неистребимый образ Божий заключен в каждом. Христианство призывает человека к обожению души, ума, сердца, тела, а вовсе не разрывает личность дуалистически на небесную и земную компоненты.

Шмелев приписывает своей героине наличие «особого духовного созерцания, внечеловеческого», но такая способность дается как дар святым подвижникам, очистившим душу подвигами и молитвой. В иных случаях чаще всего эти «дары» являются искустельным действием темных сил. Визионерство, сверхчувственные способности, которым наделяет Шмелев Дариньку, являются часто признаками духовного поражения, требующего духовного же излечения, но никак не подлежат культивации.

Но, может быть, подобные характеристики есть художественно-образное, символическое выражение духовных реалий? Ведь и в Писании, и в богословских текстах встречаются упоминания о «мире сем» и «мире ином», а земная жизнь образно сравнивается со «сном». Действительно, понятие *мира* в христианской онтологии многозначно, однако все подобные образы не имеют ничего общего с дуалистическими представлениями о двух субстанциальных началах – «мирах» материи и духа, света и тьмы и т. д. Мир как творение в христианстве един, поскольку весь сотворен Богом, тварные вещи различаются лишь природой: бесплотно-духовной или вещественно-материальной.

Попытка Шмелева воплотить некую религиозную философию не оказывает заметного влияния на собственно художественную ткань *первого тома* романа. Цельный характер Дариньки сопротивляется этой «присадке», она остается неординарной, но все же вполне живой, естественной натурой, православным церковным человеком.

Этого уже нельзя сказать о втором томе «Путей небесных», который, напомним, был завершен Шмелевым спустя 11 лет.

Во втором томе Шмелев рисует идиллию сельской, усадебно-дворянской жизни. Заметна ослабленность сюжетной динамики. Если в первом томе были и любовные интриги, и духовная брань, и падения, и победы, то во втором все становится благостно, «*хорошо*», как часто повторяют герои, уходят коллизии и драматизм реальной жизни. Характеры почти не раскры-

⁴⁶ Подготовительные записи Шмелева к роману приводятся Ю. Кутыриной в работе «Пути небесные». С. 441–442.

ваются ни в действии, ни в диалоге. Чередуются два ряда описаний (от лица Вейденгаммера и Дариньки в цитатах из «Записки»), где дан, главным образом, *анализ* их поступков и состояний, *разъяснение* заменяет собой *изображение*. По этому поводу И.А. Ильин писал: «В первой части были «вихри» и «соблазны». Во второй – сплошная апология. И в этом есть известная опасность: как бы читатель не оттолкнулся от необходимости пребывать все время в умилении»⁴⁷.

Но умиление – не главное. В идиллическом существовании совершаются чудеса и «знамения», всегда благодатные. Конечно, реальный верующий христианин осознает, что он находится в руках промысла Божия, знает, что сверхъестественные энергии способны преобразовать и судьбу, и мир, но воспринимает это спокойно, смиренно и не стремится в любом явлении действительности искать знамения и какой-то тайный смысл. Такое подлинно христианское, трезвенное отношение к чудесному описано Шмелевым в эпизоде, когда мастеровые узнают о явлении святителя Николая Чудотворца: «Виктору Алексеевичу казалось непонятным, почему это чудо принимается этими будничными людьми, для которых оно должно бы выделяться из примелькавшихся служебных мелочей, за обыденное, чему и удивиться нечего... Этот “тот свет” для них просто какой-то “свой”». Но сами-то герои во всем окружающем начинают видеть «тайну» и «чудо». А среди «чудесных» сюжетных линий выделяются весьма сомнительные с православной точки зрения эпизоды. Это, например, история *исцеления юродивой* Настеньки, которое выглядит странно: ведь юродивые, принявшие *вид безумства* Христа ради, не психические больные. Смещение двух понятий оставляет у читателя недоумение: вначале несомненная прозорливость Насти побуждает думать, что она – подлинная юродивая, но потом эта девушка, помешавшаяся, как выясняется, из-за несчастной любви, благополучно излечивается. К тому же в романе есть намек, что к ее исцелению таинственно причастна Даринька. Сюжетная линия с драгоценностями тоже носит нездоровый мистический оттенок. Украшения, изготовленные ювелиром-немцем (ставшим в конце жизни чуть ли не православным аскетом) и чудесно сохраненные от похитителей, оказываются «предназначенными» для Дариньки.

Это предпочтение внешнечувственного духовному обнаруживается довольно часто. Высокий уровень *духовности*, заданный в первом томе, снижается до *душевности* во втором, где духовная реальность нивелируется, растворяется в чисто внешних любованиях, эстетических переживаниях. «Икона Покрова была в лилиях, с подозром-пронизью, в жемчугах. Шла она в середине хода, и все на нее взирали: прекрасна была она, сияющая солнцем и самоцветами...» Автор рисует сугубо мирское восприятие крестного хода Вейденгаммером: лишь человек, incapable ощутить духовное сияние первообраза, может употребить по отношению к иконе эпитет «прекрасная». Но не только самоцветы притягивают взор, фраза продолжена так: «и обе трудницы, принявшие на себя ее, блиставшие чистотой и юные, привлекали к себе глаза». Чувственно-восторженное восприятие иконы и юных дев уместно для героя – человека еще всецело плотского, не знакомого ни со смыслом иконописи, ни изображенного на образе «Покрова». Но в романе это восприятие генерализируется, ему нигде не противопоставлено иное понимание, и можно предположить, что таковым оно сохранилось у автора со времен написания «Неупиваемой чаши», романтической саги, где мастер создает в любовном экстазе икону-портрет возлюбленной женщины: «Лик... был у нее – дивно прекрасный! – снежно-белый убрус, осыпанный играющими жемчугами и бирюзой, и “поражающие”... глаза» (1, 430).

Такое видение, конечно, вполне могло быть свойственно Виктору Алексеевичу, человеку «плотскому». Но и внутренний мир Дариньки претерпевает значительные изменения. Одолев искушения явные (любовная страсть к Вагаеву) в томе первом, во втором Даринька оказывается в плену соблазнов более тонких, которых не видит ни она, ни автор.

⁴⁷ Переписка двух Иванов (1935–1946). С. 390.

Дариньке, пребывающей в состоянии «счастья», нравится, что на нее восхищенно смотрят, нравится, что она едет в карете. В ней невозможно узнать героиню первого тома, которая совсем еще недавно хотела «покаяться во всеуслышание... всех молить, валяться у всех в ногах, чтобы простили ей ее мерзкую жизнь, ее смертный грех блуда и самовольства». Еще более акцентируется ее утонченно-эротическая привлекательность, и двусмысленно звучит шепот старушек в церкви: «живая куколка».

«Двухприродность» Дариньки, которая как бы переключается из духовного состояния в душевно-телесное и обратно, ведет к тому, что и в художественном изображении Шмелев вынужден достаточно резко переключаться с описания высоких состояний на сугубо светскую, чувственную живопись. И когда контраст становится слишком сильным, происходит нарушение художественной меры. Показателен следующий эпизод. Побывав в Страстном монастыре, где когда-то собиралась принять постриг, отслужив панихиду по матушке Агнии и вернувшись в гостиницу, Даринька с коробкой нарядов, купленных Вейденгаммером, тут же убегает в «будуарчик» и кокетливо выпархивает из него вот в каком виде: «Живые сливки... сливочное-фисташковое. Такая же и шляпка, с выгнутыми полями, особенной соломки... – “ну, что он только, совсем безумец!” – слушал он восхищенное “про себя”».

Шмелев в ответ на упреки замечал, что его героиня во многом еще дитя, да и в романе много раз говорится, что Даринька, собственно, по-детски не осознавала, что с нею происходит в моменты искушений. Но такое «оправдание» помимо того, что наводит на мысль о нравственной неразвитости героини, вступает в противоречие с представлением ее как духовно исключительно чуткого человека.

Чередование противоположных ликов героини подметили и И. Ильин, писавший о недооформленном, неясном образе главной героини, «то обуреваемой земным алканием, то заливаемой стихией церковно-родового молитвования»⁴⁸, и современные исследователи: Даринька порой обретает под пером Шмелева черты светской львицы, ведет себя как заправская кокетка, «ангелоподобное существо периодически подменяется образом увлекающейся женщины»⁴⁹.

Шмелев сознательно манифестировал именно «разрывы» в состоянии героини. Но они зачастую приводят к разрывам самой художественной ткани. Так, отношение к драгоценным камням приобретает магический оттенок, совершенно не свойственный для «без рясы монашки». Бриллианты, подаренные Вейденгаммером, производят на нее чарующее действие. Она освящает их в церкви (сам по себе странный поступок), где ей приходит мысль, что они подошли бы к ризе иконы, но, вернувшись, она надевает их перед зеркалом, и глаза ее сияют «восторгом». Все это было бы по-житейски понятно и оправданно как простительная слабость, но в дальнейшем эта сцена превращается в символ: такой «чудесной» броши достойна только «чудесная» Даринька. Во время новоселья восхищенным гостям открывается «идея» чудесной броши: «высота, чистота, недосыгаемость», причем Дарья даже запрещает кому бы то ни было прикасаться к камню, а затем эта идея прилагается и к самой Дариньке: все почувствовали, что «главным чудом была она: она была как бы поднята над всем, отмечена как достойнейшая, чистейшая». Возвышенная повествователем над земной реальностью, героиня получает почти Богородичные (ср.: «Достойно есть...», «Честнейшая...», «Славнейшая...», «Матерь чистоты и света») атрибуты.

Сравнение лучших человеческих качеств с драгоценными камнями как метафора имеет устойчивую традицию в культуре («слезы, как жемчуг», «алмаз души», «бриллиантовое сердце»), но не менее устойчива в русской, да и в мировой литературе мысль о том, что с

⁴⁸ Там же. С. 180.

⁴⁹ Борисова Л.М., Дзыга Я.О. Продолжение «золотого века»: «Пути небесные» И.С. Шмелева и традиции русского романа. С. 81, 120.

реальными бриллиантами связана стихия inferнальная, несправедное богатство и порок («наглой белизной сверкающий алмаз»). Ведь в первом томе романа и цветы, и драгоценности, которыми засыпали Дариньку развратник-барон и его племянник, были источниками «темного», бесовского искушения. Не случайно Даринька почувствовала себя «отпущенной» лишь после того, как вернула драгоценности: все темное, злое «ушло с вещами». Во втором томе нравственные знаки этих предметов меняются на противоположные. Возникает художественное противоречие в подобного рода перечислениях: «Она сияла: сияли ее глаза, берилловые серьги, ночное небо броши»; эстетическое чувство протестует против представления о небесной чистоте земной все-таки женщины в бриллиантах.

Навязчиво повторяющиеся определения Дариньки как «чистой» и «святой» и эстетически, и нравственно противоречат тому факту, что героиня находится все же в смертном грехе прелюбодейного сожительства, не говоря уже об измене монастырскому послушничеству. Единственное художественное оправдание этих эпитетов то, что они вложены в уста восторженных и преклоняющихся перед ней людей (Вейденгаммера и затем Вагаева), употребляющих эти слова вне всякой связи с их духовным значением. Сама Даринька в одной из сцен первого тома от этих сравнений «в ужасе», а Вейденгаммер впоследствии сознает их кощунственный характер. Но когда читатель призывается разделить мнение о святости героини в объективном повествовании, когда Даринька начинает творить таинственные чудеса, правда характера нарушается. Образ кающейся и смиренной грешницы заменяется образом святой чудотворицы: под таинственным влиянием Дариньки совершаются нравственные превращения, исцеления (об агиографических элементах образа пишут Л. Борисова и Я. Дзыга, также усматривая художественное противоречие).

Выскажем предположение, что истоки такого видения Дариньки коренятся в значительной мере в эстетических и философских составляющих русского символизма начала XX века. Чувство Вейденгаммера к Дариньке перерастает в языческое обожествление, его монологи (и в обращениях к Дарье, и в позднейших его воспоминаниях) – настоящая молитва-дифирамб сотворенному кумиру: «Она... высоко надо мной, царица, а я – у подножия ног ее»; «Я перед ней склонился, я целовал ей ноги, раздавленный духовным ее величием»; «Я понял, что она вся чистая... осветляющий тихий свет, святая». Переживая «взрыв всех чувств», Виктор Алексеевич в восторге припадает к ее ногам, он постоянно восклицает: «Ты совершенно ослепительна!», «Ты удивительная»; иной раз его потрясает до окаменения «эта ледяная ее решительность, эти глаза в обжигающем и ледящем блеске, эта сила...».

Подобные лирические пассажи с гиперболизацией чувств напоминают обращения поэта к возлюбленной – «даме сердца». Преклонение Виктора Алексеевича («Я мог на нее молиться») типологически идентично культу Прекрасной Дамы, который исповедовали младосимволисты. Как и они, он доходит до кощунства, уподобляя свою возлюбленную не только святым подвижницам («ты у меня святая, вся чистая»), но Самой Пречистой Деве.

Имя философа – идеолога символизма – несколько раз встречается в тексте: «Вот теперь в Петербурге читает публичные лекции талантливый молодой мыслитель Владимир Соловьев, говорит о рождении Бога в человеке, о Богочеловечестве... Этот Соловьев говорит о том же, во что ты, прелестная, скромная моя, веришь сердцем!»

Тема «Соловьев и Шмелев» практически не разработана в литературоведении. Между тем несомненно, что философ оказал значительное влияние на Шмелева. Еще «в «Неупиваемой чаше», которая своим образным строем во многом превосходит «Пути небесные», господствовал соловьевский пафос соединения человеческого с небесным, земной страсти с молитвенным настроением. «"Светлая моя", "радостная", "чистая", – мысленно обращается герой Шмелева к возлюбленной», – пишут Л. Борисова, Я. Дзыга, замечая, что лик, увиден-

ный иконописцем Ильей, идентичен воспетому Соловьевым в поэме «Три свидания»⁵⁰ (и надо заметить, что по отношению к героине «Неупиваемой чаши», хранящей верность своему распутному супругу, эти определения звучат куда более уместно, чем по отношению к бывшей послушнице Дарье Королевой).

В «Путих небесных» ноты символистской поэзии, идеи Вечной Женственности открыто манифестированы еще в финале первого тома, в письмах Вагаева, который как раз в этот период «слушает Вл. Соловьева», к Дариньке:

«...“Вы Пречистая для меня... жена моя, вечная моя... чудесная, чудотворная, небесный ангел” <...> “Божественное смотрит из ваших глаз”, “в вас, как ни в какой другой, особенно чувствуется то вечное, что уводит за эту жизнь”. Он писал, что слышит в ней “шепот небесной тайны”, что в ней постигает он “самое идеальное любви”, что она в этом мире “как во сне”, что истинная она – в другом, за-мирном, и в ней, через нее, он чувствует мир предвечный, откуда она пришла <...> “В вас... великий ответ того... небесного, предчувствуемого, о чем мечтает поэзия, что ищет философия, что *знает* одна религия...”. <...> Он говорил о “золотинках” в ее глазах, о “материи Божества”, неведомыми для нас путями просыпавшейся из Божественной Кошницы и оставшейся на земле <...> “*вечное* в ней светилось, от той Кошницы”».

Записи Вагаева, между прочим, настолько адекватны символистским воззрениям, что сохраняют и такую их особенность: для символистов их избранницы были интересны именно как медиумические фигуры, *через* которых можно приобщиться к Софии, а не как самоценные личности. Не очень образованную Дариньку, впрочем, эти письма «долго волнуют», в отличие от реальных фигур, например Л.Д. Менделеевой, которые страдали от невнимания к их собственной душе.

Письма Димы соотносятся во втором томе с записями в дневнике Вейденгаммера, созерцающего Дариньку: «Вот то, влекущее, чего ищут все, вечное-женственное... В тот памятный вечер во мне родилось постижение величайшего из всех образов: Дева – Жена – Приснодева».

Так, Даринька, скромная золотошвейка, молитвенница и смиренная кающаяся, предстает одним из воплощений Вечной Женственности. Автор никак не «компрометирует» это восприятие ее персонажами, напротив, такой она видится и самому Шмелеву, и об этом он говорит в заметках к роману. И Дарья, лишь *казавшаяся* таковой окружающим в первом томе, во втором все более соответствует этому образу в действительности.

Умножаются голоса, видения, сны, знаки; Даринька начинает видеть иной смысл буквально во всем, предметный мир становится для нее символом, тенью, знаком мира невидимого, что все более отдаляет ее от христианского мироотношения. Даринька, таким образом, превращается чуть ли не в адепта философии символизма, где каждое явление действительности рассматривается как тень, символ, знак того, что недоступно простому созерцанию. Убеждая Вейденгаммера в неслучайном, «знаковом» смысле происходящего, она все ближе подходит к тому, чтобы вслед за философом-мистиком повторить:

Милый друг, иль ты не видишь,
Что все видимое нами —
Только отблеск, только тени
От незримого очами⁵¹.

Символизм в том виде, как он сложился в России на рубеже XIX–XX веков, как правило, равнодушен к первому пласту реальности (будь то предмет или человек) и всецело направлен на поиск «скрытой» сущности. Христианский символизм основан не на открытии «зага-

⁵⁰ Там же. С. 14.

⁵¹ Соловьев В.С. «Неподвижно лишь солнце любви...» М., 1990. С. 75.

дочного», стоящего за предметами, но на обнаружении истинного вида предметов, который открывается духовному разуму, стяжаемому благодаря чистоте ума и сердца.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) пишет об этом так: «При наступлении дня после ночной темноты ночной образ чувственных предметов изменяется: одни из них, доселе остававшиеся невидимыми, делаются видны, другие, бывшие видны неотчетливо... обозначаются определенно. Происходит это не потому, чтоб предметы изменялись, но потому, что отношение к ним зрения человеческого изменяется при заменении ночной тьмы дневным светом. Точно то же совершается с отношением ума человеческого к предметам нравственным, духовным, когда озаряется ум духовным знанием, исходящим из Святого Духа»⁵².

«Вещи, движенья, звуки: во всем ей виделась глубина, все было для нее знамением... во всем чувствовался глубокий Смысл» – в этих словах о Дариньке классически передано мироощущение поэта-символиста, но происходит явный отход от христианского реализма и трезвости. Св. Исаак Сирий предупреждал: «Господь во всякое время близкий заступник к святым Своим, но без нужды не являет силы Своей каким-либо явным делом и знамением чувственным, чтоб заступление Его не сделалось как бы обычным для нас, чтоб мы не утратили должного благоговения к нему и оно не послужило для нас причиною вреда»⁵³.

Сам Шмелев не был адептом какой-либо религиозно-философской системы. Однако, как сообщает О. Сорокина, еще в России он интересовался религиозной философией В.С. Соловьева, а в эмиграции «его знакомство с религиозно-философскими вопросами основывалось на живом общении с кругом таких мыслителей, как С.Н. Булгаков, Б.П. Вышеславцев, Н.А. Бердяев, которые по совету Шмелева проводили в Капбретоне лето 1925 года... Они собирались для обсуждения различных богословских вопросов. В прения Шмелев никогда не вступал, а оставался... пассивным слушателем»⁵⁴.

Вероятно, Шмелев усваивал какие-то отдельные компоненты различных философских систем, которые не всегда совпадали со строго святоотеческим православным вероучением. Круг его чтения во время работы над романом необычайно пестр: он читает Гофмана и Феофана Затворника, Н. Бердяева и изречения старца Амвросия Оптинского, разыскивает книги С. Булгакова, Уильяма Джемса. Об увлечении Шмелева современной религиозной философией его друг писал: «Что Вам это даст? Вы уже давно вошли туда, где из этих словоблудов никто и не бывал! Э-эх!»⁵⁵ Этому предостережению страстная и увлекающаяся натура писателя, вероятно, противилась. Впрочем, часто Шмелев высказывает весьма скептические суждения: «Философия – гимнастика и эквилибристика ума... Все построения ее куда краткотечней пирамид. Она имеет величайшую заслугу:...она ищет и творит путь к Богопознанию.

Правда, что часто она и мешает этому пути» и далее сообщает, что сам он ограничивается в искусстве «изображением мученического и трагического, пересказом “явлений”». «Я ведь живу только *чувством, чувствами*... Философией можно “приправлять” искусство, но не строить его на ней, – провал. Я в “Путих небесных” не философствую, там... старается невер поджечь веру в себе, т. е. как-то ее “ощутить”»⁵⁶.

Основа романа, действительно, не столько философская, сколько религиозная, но, безусловно, «приправа» некоторых философских идей ощутима. «Этими двумя началами, двумя мирами – сном – действительностью – временным, – и – “жизнью”, ирреальным – вечным, жило и живет человечество, это “гвозди”, на которых стоит вся жизнь, это – относительное и абсолютное, время и вечность, материя и Дух. Мир спит в плоти, в грехе, и – должен проснуться

⁵² Игнатий (Брянчанинов), *сет.* О чудесах и знамениях. СПб., 1990. С. 30–31.

⁵³ Там же. С. 20.

⁵⁴ Сорокина О.Н. Московянина. С. 241–242.

⁵⁵ Переписка двух Иванов (1947–1950). С. 35.

⁵⁶ Переписка двух Иванов (1935–1946). С. 401–402.

в вечное». Эта фраза завершает приводимые Ю. Кутыриной наброски Шмелева о «двумирности» Дариньки и является одновременно постулированием религиозно-философской идеи романа. Однако можно ли всецело признать это понимание христианским? Восприятие мира как становления, идея его «пробуждения», превращения в «Лик Божий» носят отчетливый хилиастический оттенок. Главная цель христианской жизни – спасение души в вечности – при таком понимании отходит на второй план или вовсе игнорируется.

Очевидно, эти мысли, отождествляющие грех с плотью и материей, записаны не без влияния разного рода теософских учений, возрождавших в начале XX века гностические, манихейские представления о двух извечных антагонистических началах – материи и духа, приравнивавших плоть к греху. Поэтому в романе Божественное – идеальное и земное – человеческое «разрывают» Дариньку, тогда как смысл православного делания – просвещение плоти, обожение личности, обретение цельности духовной и физической сфер.

Отметим, впрочем, что истоки увлечения Шмелевым идеей Вечной женственности лежали не только в философии Соловьева, но и в его собственном давнем и благоговеином отношении к женщине. Он писал в «Крушении кумиров»: «Русская женщина – и сестра, и жена, и мать – носит в душе великую силу – великое страдание. В подвиге творчества новой жизни – многое она может. Ее душа – душа глубины, и высоты, и Света. Светлые и величавые образы русских женщин дала наша литература, как ни одна литература в мире» («Крушение кумиров»). Трепетное, до преклонения, отношение Шмелева к женщине усиливалось с годами: незаменимой опорой и духовной водительницей была для него супруга, Ольга Александровна, которой посвящен роман, а после ее кончины предметом платонической любви писателя стала другая Ольга Александровна (Бредиус-Субботина), которая, как он считал, была послана ему провидением. Собственные размышления Шмелева переплетались с концепциями софиологов: «Давать план Жизни, вести Мир, править – должна Женщина! <...> Она дает Мир, ergo: Мир – ее. Мир – Она. <...> Отсюда – Софии. Отсюда “женственное начало” в Боге – у Булгакова. Далеко не просто гетевское – эвиге вейблихе (вечное женственное. – А.Л.). А – прозревание. <...> Подлинный ум – творчески-религиозный, провидение-чуяние – духовно-душевная дальноркость. Вот – главная сила. И она – в женщине»⁵⁷.

Итак, во втором томе характер Дариньки уже в объективном изображении начинает надеяться далеко не православными душевными чертами. Кратко их можно обозначить одним словом: «прелесть». Вчитаемся в строки: «Это *святое*, что было в ней, этот “свет нездешний” наполняли ее видениями, голосами, снами, предчувствиями, тревогами. Тот мир, куда она смотрела духовными глазами, – только он был для нее реальностью. Наше, земное – сном». В любом литературном тексте «голоса» и «чудеса» вполне допустимы как художественный прием. Но в произведении духовного реализма они не могут восприниматься иначе – как явления духовной реальности, светлой или темной. Перечисленные состояния (видения, голоса, сны, предчувствия, тревоги), наряду с упоминаемыми не раз «молитвенными припадками» и обмороками, являются несомненными признаками воздействия на душу бесовских сил, оценка же их как признака «святости» лишней раз свидетельствует о глубоком прельщении героини и духовной слепоте преклоняющихся перед ней.

В первом томе Шмелев блестяще воспроизвел ситуации обольщения чудом: «Впоследствии Даринька постигла духовным опытом, что в этом «чуде» таилась уловляющая *прелесть*». Во втором томе она словно забывает об этом поучительном опыте, теряет духовную трезвость. И сам характер чудес, как уже говорилось, становится все более сомнительным с православной точки зрения.

Весьма интересен проведенный Л. Борисовой и Я. Дзыга анализ словоупотребления и смыслового наполнения слова «прелесть». Выявлены такие особенности: «прелесть» оказыва-

⁵⁷ Там же. С. 516–518.

ется постоянным *качеством* Дариньки; при этом значение слова в процессе развития сюжета двоятся между изначально церковным, негативным, и мирским, эстетическим, позитивным; «прелесть в смысле «обольщение, соблазн» употребляется в романе в 11 случаях из 54» (один к пяти – очень показательное соотношение!); «У Шмелева противоположные значения «прелести» нередко хаотически смешиваются». Согласимся с выводом исследователей: «Первое, «строгое» значение слова не может не быть главным в духовном романе, но у Шмелева оно нередко заслоняется вторым, светским»⁵⁸.

Схожие выводы можно сделать и по отношению к другому, одному из самых частых слов романа – «восторг». Тон повествования отличает повышенная эмоциональность, местами переходящая в экзальтированность. Во втором томе особенно сказывается присущая творчеству Шмелева страстность, исступленность, которая ведет к нарушению художественной меры в передаче внутренних движений души. В состоянии «восторга» очень часто находятся Вейденгаммер, многие встречающиеся с Даринькой люди, но, что всего печальнее, она сама. И если в первом томе состояние восторга героини преимущественно представлено как состояние прельщения ложными ценностями (ювелирные изделия, бега, адюльтер с гусаром и пр.), то во втором – аналогичные состояния «восторга» (который она испытывает при виде природы, людей, храма, иконы, броши и др.) обретают позитивный смысл.

С духовной точки зрения восторг – опасное состояние, чаще всего признак прелести. Подвижники благочестия и учителя церкви предостерегали от экзальтированности и восторженных ощущений. С точки зрения эстетической переизбыток восторженного чувства в героях не способствует художественному совершенству. В книге «О тьме и просветлении» Иван Ильин писал об этом так: «Во второй части романа образ Дариньки рисуется все время чертами *умиления и восторга*, которым читатель начинает невольно, но упорно сопротивляться... Сентиментальность становится главным актом в изображении... Главная опасность “чувствующего” искусства оказывается непреодоленной и неустранимой в “Пути небесных”; читатель воспринимает *намерение автора*, но перестает художественно “принимать” его образы и созерцать его предмет»⁵⁹.

Приведем еще одно, наиболее показательное, свидетельство «расцерковления» героини. В первом томе Шмелев дал несколько глубоких описаний молитв Дариньки – келейных и церковных. В главе «Аллилуия» второго тома, целиком посвященной участию Дариньки в богослужении, ее поведение в храме превращается в некое сакральное действие с цветами. Перед началом службы она посылает девочку за цветами, которые забыла принести с собой. Затем выбирает место у открытого окна, откуда виден прекрасный летний пейзаж. За Шестоплаем (когда особенно строго положено внимать молитве и в храме гасят свет) героиня занята выбором цветов, подходит к праздничной иконе, чтобы поставить перед ней пионы. Затем она думает, что хорошо бы поставить «вазу с лилиями» к иконе святителя, но начинается торжественное песнопение «Хвалите имя Господне». Даринька – в экстазе, душа ее «возносится», но и здесь не обходится без цветка: «Она слышала чистый, восторженный голос Нади, и ей казалось, что и жасмин в ее волосах... пел тоже “Аллилуия”». С сенокоса в окно церкви вливается «медовое дыханье» трав. С «тающим» сердцем Дарья слушает Евангелие, затем несет вазу с цветами в придел, ставит перед образом святителя. Задержавшись при возвращении в храм из придела, она слышит 50-й покаянный псалом не с самого начала. Характерно, что она не включается в соборное молитвословие, но начинает рассуждать *по поводу* слов: ей представляется очередное знамение в том, что она не успела услышать обличительный «страшный» стих псалма, напоминавший ей о ее грехе: «И вот тогда не услышала она его, он прозвучал без нее:

⁵⁸ Борисова Л.М., Дзыга Я.О. Продолжение «золотого века»: «Пути небесные» И.С. Шмелева и традиции русского романа. С. 79, 69.

⁵⁹ Ильин ИЛ. О тьме и просветлении. Книга художественной критики. Бунин – Ремизов – Шмелев // Ильин И.А. Собрание сочинений в 10 т. Т. 6. Кн. 1. М., 1996. С. 365.

его закрыло... И она приняла это, что греха уже нет на ней... Верила, что внушено ей было остановиться и не слышать напоминания». Психологически состояние и поведение героини вполне правдоподобны, но они – на грани «мнения», ведущего в прелесть. Следует различать ситуации, когда Господни знаки подаются несомненно и направленно и когда человеческая душа сама начинает измышлять и фантазировать, причем, как в данном случае, в опасном направлении – «греха нет».

В этой главе Шмелев с присущим ему художественным мастерством нарисовал вполне достоверный и, может быть, распространенный тип *околоцерковного* сознания, но вступил в противоречие с представлением о характере героини как православного воцерковленного человека. Заклучим комментарий к этой сцене строгими суждениями святителя Игнатия: «Достойны сожаления оставляющие слово, ищущие убеждения от чудес.

Этой потребностью обнаруживается особенное преобладание плотского мудрования... неспособность души сочувствовать Святому Духу, ощутить присутствие Его и действие Его в слове»⁶⁰.

Отметим и еще один момент философии Соловьева, который, по-видимому, способствовал введению дополнительных штрихов в одну из важных философских составляющих романа – идею неслучайности всего происходящего. Она может показаться подлинно христианской, но мысль о таинственном значении и даже *предназначении* каждого явления уже уводит от представления о Промысле и свободной синергии Бога и человека. И. Ильин сетовал на эту особенность романа, явственнее проступившую во втором томе, приводя в пример рассуждения о «назначенности» ночного пения петухам.

Идея «оправдания» мира в явлении была присуща абсолютному идеализму Шеллинга и Гегеля и впоследствии унаследована метафизикой Соловьева, откуда, скорее всего, и воспринял ее Шмелев. «Без “достаточного основания” ведь ничего случиться не может... И раз уж что случается, то, значит, не могло не случиться. Именно “случайного” вообще не бывает, – излагает эту особенность философии Соловьева Г. Флоровский. – У Соловьева этот пафос абсолютного обоснования был всегда очень острым. Он прямо и учил о предопределении»⁶¹. Мысли Вейденгаммера (разделяемые и автором) о том, что все случившееся с ним происходило согласно «Плану», очень близки этому учению.

Хотя М. Дунаев, анализируя роман, и отождествляет понятие «Плана» с Промыслом⁶², в художественной ткани романа эти понятия далеко не всегда совпадают. Согласно христианскому богословию, Бог *предвидит*, но не *предопределяет* события. Промыслительные вмешательства Божественной воли способствуют направлению души к спасению, но не лишают человека свободы воли. Персонажи «Путей небесных» близки к православному пониманию Промысла, когда рассуждают о «знаках» как бы подсказках, подаваемых Господом, или о возможности для Него направлять зло к добру, но иногда склоняются к мысли о фатальной предначертанности явлений. Виктор Алексеевич постоянно упоминает о «Божественных чертежах», Планах как схемах, но сама эта образность неадекватна: судьбы человечества видны Богу, но не начертаны им, а совершены свободной волей человечества начиная от грехопадения первых людей. Между тем в «философических» построениях Вейденгаммера встречаются такие фразы: «Постиг он и другое, важнейшее: все в его жизни... было как бы предначертано в Планах наджизненном»; «я чувствовал, что я уже нахожусь в определенном *плане*, и все совершается по начертанным чертежам, *путям*. Я знал, что она необычайная, *назначенная*. И ей умереть *нельзя*» и т. п. Особенности смущают слова героя, усматривающего Божественный *план* «даже в грехопадениях, ибо грехопадения неизбежно вели к страданиям,

⁶⁰ Игнатий (Брянчанинов), *сет.* О чудесах и знамениях. С. 14.

⁶¹ Флоровский Г., *прот.* Пути русского богословия. Вильнюс, 1991. С. 314.

⁶² Дунаев М.М. Православие и русская литература. М., 1999. Ч. 5. С. 702.

а страдания заставляли искать путей», дающие повод исследователям справедливо заключить, что «герои оказываются беспомощными перед страстями, а в самом понятии Пути начинается отсвечивать едва ли не фатальность»⁶³.

Мы можем предполагать, в каком направлении должно было идти дальнейшее развитие романа, в частности, как автор планировал изобразить монашество. Шмелев очень серьезно относился к этой теме своей книги. «Иван Сергеевич... говорил о том, что в этом 3-м томе ему хотелось выявить многое из жизни русских монастырей и русских старцев, их значение в русской культуре и в духовном их водительстве русского народа»⁶⁴. С середины 30-х годов Шмелев изучает жизнь Оптиной Пустыни, собирает материалы о старцах, интересуется личностью прп. Амвросия, выписывает его изречения. Письма Шмелева исполнены опасений: «Где найду сил показать старца? Зосима – не то. И как скудно о старце Амвросии. Его надо вообразить»; «Ох, сорвусь на “старца”. Не задался он и великому Достоевскому. Зосима – отвлеченность (схема)»; «Как я перевоплощусь в “старца”?! А – надо, помоги, Господи»⁶⁵.

Сомнения в успешности воплощения монастыря и старца в качестве *новой* художественной задачи выглядят в устах автора написанных уже «Богомолья» и «Старого Валаама» несколько странно, кроме того, в романе уже воплощены и монастырь (Страстной, с описанием быта его населенных), и старец (Варнава Гефсиманский). Образ Варнавы воссоздан в его смиренном облике и нескольких скупых, но полных любви фразах, духовных советах – точно так же, как и в «Богомолье», и в очерке «У старца Варнавы». Очень важно, что старец у Шмелева не пытается выразить никакой философии или отвлеченного богословствования, ему не свойственны ни пространное морализаторство, ни психологические откровения, как для Зосимы у Достоевского.

Очевидно, в третьем томе Шмелев намеревался воссоздать образ старца (прп. Амвросия) по-иному, сделать его многограннее и детализированнее. Не исключено, что писатель хотел вступить в своеобразное состязание с Достоевским (Зосима постоянно стоял перед шмелевским взором). Но очевидна и опасность пути, по которому намеревался пойти Шмелев – вкладывания в уста подвижника каких-либо религиозных идей и представлений.

Ю. Кутырина публикует одну из записей Шмелева, сделанную еще в 1925 году, в которой обнаруживаются соловьевско-символистские идеи: «Верую, что человек есть орудие – средство преобразить мир, сделать его воистину Ликом Божиим – Видимым Богом. Человечество... лишь инструмент. Цель – Красота и Гармония всего сущего». Этот символ веры, характерный для Шмелева середины 1920-х годов, удивляет тем, с какой легкостью «венец творения» с бессмертной и драгоценной душой, который со времен «Человека из ресторана» был для писателя всегда предметом высокой любви и сострадания, низведен до уровня «средства» и даже «инструмента». Но в данном случае важна пометка (более поздняя) под приведенными рассуждениями: «Это надо ввести в уста старца Оптиной Пустыни в “Пути небесных”, но, конечно, в другом словесном складе»⁶⁶.

В двух написанных томах эти идеи не эксплицированы. Но, судя по записям Шмелева, в дальнейшем идеи Соловьева должны были действительно оказать достаточно заметное влияние уже на концепцию романа. Персонажи книги, по мысли Шмелева, «Господом, чего я не досказываю, взяты для опыта. Тут как бы чуть приоткрывается то, что “всегда в тайне”, так... как бы уж и свершилось – по Вл. Соловьеву – когда входила жизнь в неорганическое, когда сонная греза вечная цветка перелилась в сознание животного, когда и как сознание это пре-

⁶³ Борисова Л.М., Дзыга Я.О. Продолжение «золотого века»: «Пути небесные» И.С. Шмелева и традиции русского романа. С. 127.

⁶⁴ Кутырина Ю.Л. «Пути небесные». С. 443.

⁶⁵ Переписка двух Иванов (1935–1946). С. 382; Переписка двух Иванов (1947–1950). С. 15, 16.

⁶⁶ Кутырина Ю.Л. «Пути небесные». С. 444.

вратилось в разум двуногого... тут как бы безобразные роды иного человека, но пока не богочеловека»⁶⁷.

По мнению Кутыриной, «была воля Божия в том, чтобы роман “Пути небесные” остановился на слове, которое явилось завершающим его и исчерпывающим: Евангелие... Тут все»⁶⁸. Как знать, может быть, Промысел, не раз спасавший Шмелева, уберег его и от создания книги, где проводником откровенно соловьевской философии стал бы святой старец Амвросий Оптинский.

Подведем некоторые итоги сказанному в этом разделе. Имея в виду будущее преображение героя, Шмелев силой, рычагом, двигателем на пути к Богу выбирает привлекательность Дариньки – душевную и телесную. Он откровенно излагает свою художественную установку: «Я только одно понял: надо *обаяние*, редкую силу, предельный шарм, непохожесть ни на кого – апофеоз женственного, как бы заменяющий Свет, ослепивший Савла. Чистота, душевная высота, недостижимость». Действительно, для героя романа благодать Божия оказалась подменена, заменена, отодвинута Женственностью (герой «закрывает» Бога «самым близким своим – своей Дарьей»)»⁶⁹. Искусительная идея Вечной женственности оказала воздействие на творчество многих литераторов серебряного века, не избежал ее влияния и Шмелев.

Создавая образ верующего воцерковленного мирянина, Шмелев чересчур завысил планку исключительности, необыкновенности. От первого тома ко второму молитвенность героини все больше перерастала в экзальтированность, ее мистическая жизнь из трезвенно-смиренной уходила в нецерковную мистику, ее сверхчувственные способности, явления, голоса, визионерство с православной точки зрения не могут быть расценены иначе, как состояние глубокого и опасного впадения в прелесть. Еще апостол Павел говорил, что подлинные христиане будут казаться «безумными» для мира, но христианство печется о безусловном внутреннем духовном здоровье, исцеляет все болезни и поражения души, в том числе неоправданный провиденциализм, видение во всем чудес и знамений.

Влияние серебряного века с его утонченной образностью, душевностью, нецерковной мистикой, наследие эстетики символизма – вот что прямо и косвенно сказалось на «духовном романе» Шмелева, вот что воспрепятствовало последовательному воцерковлению героев, замутило чистоту православной духовности, изначально наполнявшей роман.

* * *

Эти наблюдения над вторым томом «Путей небесных» – дополнительные штрихи к своеобразному мировидению Шмелева. Они не отменяют несомненных художественных достижений. «Опыт духовного романа» осуществился, и «Пути небесные» стали во многих отношениях уникальным феноменом в русской литературе. В книге показана жизнь человеческой души, руководимой Божественным промыслом и ведущей «духовную брань» с силами зла. Социальность, хотя и отчетливо выраженная, играет вторичную, внешнюю роль; роман также невозможно определить ни как философский, ни как психологический. Вместо столь привычного для классики психологизма мы встречаем здесь отражение именно *духовной* жизни души. В основе раскрытия судеб и характеров героев лежит святоотеческая духовная культура, православное аскетическое мировоззрение – те традиции, которые оставались чуждыми для секуляризованной светской культуры XIX–XX вв.

Создавая свою последнюю книгу, писатель все глубже погружался в мир русской православной культуры, в нем росло стремление самому приобщиться к жизни «в церковном быту»,

⁶⁷ Переписка двух Иванов (1935–1946). С. 182.

⁶⁸ Кутырина ЮЛ. «Пути небесные». С. 475.

⁶⁹ Переписка двух Иванов (1935–1946). С. 394, 392–393.

которая полнее всего осуществляется в монастырях. Летом 1936 года, во время поездки по Прибалтике, Шмелев посещает Псково-Печерский монастырь, где, знакомясь с каждой стороной монастырской жизни, впитывает впечатления всем своим существом, «вдыхая их как воздух». В следующем (1937) году он проводит три недели в монастыре св. Иова Почаевского во Владимировой (Карпаты, Чехословакия) – крупном центре русского православия за рубежом. Монастырь имел свое издательство (именно в нем вышла книга Шмелева «Старый Валаам»), выпускал газету «Православная Русь», в которой публиковались очерки Шмелева и материалы, посвященные его творчеству. Шмелев знакомится с издателем газеты, архиепископом Серафимом, беседует с монахами, усердно посещает церковные службы, работает в монастырской библиотеке, проявляя особый интерес к истории и старцам Оптиной Пустыни. Для продолжения «Путей небесных» «надо готовить верную картину монастырского жития, чтобы на фоне его с предельной глубиной и ясностью изобразить обращение к Богу, преображение и оцерковление русского интеллигента-вольномудца. Показать для будущих поколений, доживших до нашего лихого безвременья, что может, *может* душа русская возродиться, как бы низко она ни пала»⁷⁰.

Этим планам не удалось осуществиться. «Пути небесные» разделили судьбу «Мертвых душ» и «Братьев Карамазовых», чьи авторы страстно желали, но не смогли завершить свои творения. Фатальным образом замысел русской классики – показать духовное возрождение русской души – снова остался невоплощенным. Но два вышедших тома «Путей небесных» вполне выразили дух православной жизни, христианские представления о мире и человеке. И можно согласиться с оценкой, данной «Путям небесным» И. Ильиным: «Это первый сознательно-православный роман в русской литературе... Это роман ищущий и находящий; в этом его духовная сила. Это роман миро- и Богосозерцающего борения, и в этом его захват»⁷¹.

Алексей Любомудров

⁷⁰ Архиепископ Серафим (Иванов). Бытописатель русского благочестия // Шмелев И.С. Душа Родины: Избранная проза. М., 2000. С. 462.

⁷¹ Переписка двух Иванов (1935–1946). С. 387.

Пути небесные

Эту книгу – последнюю написанную мной при жизни незабвенной жены моей Ольги Александровны и при духовном участии ее – с благоговением отдаю ее светлой Памяти.

Ив. ШМЕЛЕВ

22 декабря 1936 г. Boulogne-sur-Seine



Том первый

I. Откровение

Эту чудесную историю – в ней земное сливается с небесным – я слышал от самого Виктора Алексеевича, а заключительные ее главы проходили почти на моих глазах.

Виктор Алексеевич Вейденгаммер происходил из просвещенной семьи, в которой перемешались вероисповедания и крови: мать его была русская, дворянка; отец – из немцев, давно обрусевших и оправославившихся. Фамилия Вейденгаммер упоминается в истории русской словесности: в 30-40-х годах прошлого века в Москве был «благородный пансион» Вейденгаммера, где подготовлялись к университету дети именитых семей, между прочим – И.С. Тургенев. Старик Вейденгаммер был педагог требовательный, но добрый; он напоминал, по рассказам Виктора Алексеевича, Карла Ивановича из «Детства» и «Отрочества». Он любил вести со своими питомцами беседы по разным вопросам жизни и науки, для чего имелась у него толстая тетрадь в кожаном переплете, прозванная остряками – «кожаная философия»: беседы были расписаны в ней по дням и месяцам – своего рода «нравственный календарь». Зимой, например, беседовали о благотворном влиянии сурового климата на волю и характер; Великим постом – о душе, о страстях, о пользе самоограничения; в мае – о влиянии кислорода на организм. В семье хранилось воспоминание, как старик Вейденгаммер заставил раз юного Тургенева ходить в талом снегу по саду, чтобы расхотеть навалившееся «весеннее онемение». Такому-то систематическому воспитанию подвергся и Виктор Алексеевич. И, по его словам, не без пользы.

Виктор Алексеевич родился в начале сороковых годов. Он был высокого роста, сухощавый, крепкий, брюнет, с открытым, красивым лбом, с мягкими, синими глазами, в которых светилась дума и вспыхивала порой тревога. Всегда в нем кипели мысли, он легко возбуждался и не мог говорить спокойно.

В детстве он исправно ходил в церковь, говел и соблюдал посты; но лет шестнадцати, прочитав что-то запретное – Вольтера или Руссо, – решил «все подвергнуть критическому анализу» и увлекся немецкой философией. Резкий переход от «нравственного календаря» к Шеллингу, Гегелю и Канту вряд ли мог дать что-нибудь путное юному уму, но и особо вредного не получилось: просто образовался некий обвал душевный.

– В церкви, в религии я уже не нуждался, – вспоминал о том времени Виктор Алексеевич, – многое представлялось мне наивным, детски языческим. «Богу – если только Он есть – надо поклоняться в духе, да в поклонении Бог и не нуждается», – думал я.

И он стал «никаким» по вере.

Сороковые годы ознаменовались у нас увлечением немецкой философией, шестидесятые – естественными науками. В итоге последнего увлечения – крушение идеализма, освобождение пленной мысли, бунтарство, нигилизм. Виктор Алексеевич и этому отдал дань.

– Я стал, в некотором смысле, нигилистом, – рассказывал он, – и даже до такой степени, что испытывал как бы сладострастие, когда при мне доходили в спорах до кощунства, до скотского отношения к религии.

В нем нарастала, по его словам, «похотливая какая-то жажда-страсть все решительно опрокинуть, дерзнуть на все, самое-то священное... духовно опустошить себя». Он перечитал всех борцов за свободу мысли, всех безбожников-отрицателей и испытал как бы хихикающий восторг.

– С той поры «вся эта ерунда», как называл я тогда религию, – рассказывал Виктор Алексеевич, – перестала меня тревожить. Нет ни Бога, ни дьявола, ни добра, ни зла, а только –

«свободная игра явлений». И все. Ничего «абсолютно» не существует. И вся Вселенная – свободная игра материальных сил.

Окончив московское техническое училище, Виктор Алексеевич женился по любви на дочери помещиков-соседей. Пришлось соблюсти порядок и окрутиться у аналоя. Скоро и жена стала «никакой», поддавшись его влиянию, и тем легче, что и в ее семье склонялись к «свободной игре материальных сил».

– С ней мы решали вопросы: что такое нравственное? что есть разврат? свободная любовь унижает ли нравственную личность или, наоборот, возвышает, освобождая ее от опеки отживших заповедей? И приходили к выводу, что в известных отношениях между женщиной и мужчиной нет ни нравственности, ни разврата, а лишь физиологический закон отбора, зов, которому, как естественному явлению, полезней поддаться, нежели сопротивляться, что брезгливость и чистоплотность являются верным регулятором, что отношение к явлениям зависит от наших ощущений, а не от каких-то там «велений». И вот когда-то случилось, – рассказывал Виктор Алексеевич, – она... – он никогда не говорил «жена» – она мне с усмешкой бросила: «Никакого разврата, а... «физиологический закон отбора»... и «зависит от наших настроений»!

Курс он кончил с отличием. Еще студентом он сделал какие-то открытия в механике, натолкнулся на идею двигателей нового типа, «как бы предвосхитил идею двигателей внутреннего сгорания Дизеля».

Первые годы женитьбы он все свободное время сидел за своими чертежами, пытаясь осуществить идею. Жена любила наряды, хотела блистать в свете и блистала, а он, при всей своей страстности к жизни и ее дарам – «чуть ли не похотливости к жизни», как он откровенно признавался, – вычислял и вычерчивал, уносился в таинственный мир механики, тщаь раскрыть еще не разгаданные ее тайны. Его стали томить сомнения: хорошо ли сделал, что стал инженером-механиком? не лучше ли было бы отдаться «механике небесной» – астрономии? Он схватился за астрономию, за астрономическую механику, и ему открылась величественная картина «движений в небе». Он читал дни и ночи, выписывал книги из Германии, и на стенах его кабинета появились огромные синие полотна, на которых крутились белые линии, орбиты, эллипсы... – таинственные пути сил и движений в небе.

А пока отдавался он астрономии, семейная его жизнь ломалась.

Он тогда служил на железной дороге, проходил стаж: ездил и кочегаром, и машинистом, готовясь к службе движения. Как раз в ту пору началась железнодорожная горячка, инженерами дорожили, и ему открывалась блестящая дорога. И вот, когда он трясся на паровозе и подкидывал дрова в топку или вглядывался в звездами засыпанное небо и в мыслях его пылали «пути небесные», строго закономерные для него, как пара блестящих рельсов, – семейная его жизнь сгорела.

Вернувшись как-то домой раньше обещанного часа, он увидел это с такой оголенной ясностью, что, не сказав ни слова, – чего ему это стоило! – решительно повернулся и, как был в промасленной блузе машиниста, так и ушел из дома: здесь ему было делать нечего. Снял комнату и послал за вещами и книгами. У него уже было двое детей, погодки. Он написал родителям жены, прося позаботиться о детях, – старики Вейденгаммеры уже померли. Родители пробовали мирить, приводили детей, чтобы тронуть «каменное сердце», но он остался неумолим. Жена требовала на содержание и отказалась принять на себя вину. Он даже не ответил, и она написала ему в насмешку: «Никакой вины, а просто... “закон отбора”». Он написал на ее записке – «потаскушка», и отослал. Тем семейная жизнь и завершилась. Он давал детям на воспитание, но потребовал, чтобы жили они у бабушки, и иногда приезжал их поцеловать.

Вскоре он занял видное место на дороге, но скромной жизни не изменил: жил замкнуто, редко даже бывал в театре – «жил монахом», – и все свободное время отдавал своим чертежам и книгам.

– И вот, – рассказывал он, – что-то мне стало проясняться. Я видел *силы*, направляющие движение тел небесных, разлагал их и складывал, находил точки, откуда они исходят, прокладывал на чертежах силы главнейшего порядка... и видел ясно, что эти новые силы предполагают наличие новых сил. Но и этот новый порядок сил... одним словом, открывались новые силы, еще, еще... и эти новые, назовем их «еще-силы», необходимо было сложить и свести к единой. Хорошо-с. Но тогда к чему ее-то свести, эту единую?.. И откуда она, этот абсолют, этот исток-сила? Этот исток-сила необъясним никакими гипотезами натурального порядка. А раз так, тогда все законы механики летят как пыль! Становилось мне все ясней, что тут наше мышление, наши законы-силы оказываются – перед небом! – куцыми. Или же тут особая сверхмеханика, которая в моей голове не уместается. Тут для меня тупик, бездонность Непознаваемого, с прописной «Н» – *не* знаю, *не* понимаю, *не*... принимаю, наконец! Все гипотезы разлетались, как мыльные пузыри. Но как-то мелькнуло мне, озарило и ослепило, как молнией, что я узнаю, увижу... не глазами, не мыслью, а за-глазами, за-мыслью... понимаете, что я хочу сказать?.. – что я найду доказательство особой, как бы внепространственно-материальной силы, и тогда станет ясно до осязаемости, что все наши формулы, гипотезы и системы *тут* – ничто, ошибка пригостишки, сплошное и смехотворное вранье, что все эти «законы» – для Беспредельного – чистейшая чепуха. И удивительно что еще? Да то, что называется – «по Сеньке и шапка»: как еще из всей этой чепухи что-то еще мы получаем, какие-то все-таки законы, и эти законы относительно даже верны, в пределах пригостительного класса.

Как-то ранней весной, когда уже таял снег и гроыхали извозчики, он засиделся за чертежами, докурился до одури. Взглянул на часы – час ночи. Он открыл форточку, чтобы освежиться, и у него закружилась голова. Это прошло сейчас же, и взгляд его обратился к небу. Черная мартовская ночь, небо пылало звездами. Таких ярких, хрустально-ярких, он еще никогда не видел. Он долго смотрел на них, в черную пустоту провалов.

– И такую страшную почувствовал я тоску, – рассказывал он, – такую беспомощность ребячью перед этим бездонным *непонятным*, перед этим Источником всего: сил, путей, движений!..

Черно-синие бархатные провалы перемежались седыми пятнами, звездным дымом, дыханием звездным – мириадами солнечных систем. Он беспомощно обводил глазами ночное небо, в глазах наплывали слезы, и ему вдруг открылось...

– Трудно передать словами, что тут случилось со мной, – рассказывал Виктор Алексеевич. – Прошло лет тридцать, но я как сейчас вижу: все дрогнуло, все небо, со всеми звездами, вспыхнуло взрывами огней, как космический фейерверк, и я увидел бездонность... нет, не бездонность, а... будто все небо разломилось, разодралось, как сверкающая бескрайняя завеса, осыпанная пылающими мирами, и там, в открывшейся пустоте, в непостижимой мыслию бездонной глыби... – крохотный, тихий, постный какой-то огонечек, булавочная головка света, чутошный-чутошный проколик! И в неопределимый миг, в микромиг, не умом я постиг, а чем-то... каким-то... ну, душевным, что ли, вот отсюда идущим чувством?.. – показал он на сердце, – что исследовать надо там, та-ам, в этом проколке... но – и это самое оглушающее! – и там-то... опять начало, начало только, – все такое же, как и это, только что разломившееся небо! Меня ослепило, оглушило, опалило, как в откровении: дальше уже *нельзя*, дальше – конец человеческого, предел.

Это был обморок от переутомления, от перенапряжения мысли и зрения, может быть – от чрезмерного куренья, от дохнувшей в него весенней ночи. Он увидал себя на полу, лицом в полусвещенный потолок. В открытую форточку вливался холодный воздух. Он поднялся, совсем разбитый, и поглядел в небо с неопределимо-тревожным чувством. Звезд уже не было: так, кое-где мерцали в сквозистой ватке наплывающих облаков. Все было обыкновенное, ночное.

Это был обморок, продолжавшийся очень долго: часы показывали половину второго.

После он вспомнил, что в блеске раздавшегося неба огненно перед ним мелькали какие-то незнакомые «кривые», *живые*, друг друга секущие параболы... новые «пути солнц» – новые чертежи небесной его механики. Тут не было ничего чудесного, конечно, – рассуждал он тогда, – а просто – отражение света в мыслях: мыслители видят свои мысли, астрономы – «пути планет», и он, инженер-механик и астроном-механик, мог увидеть небесные чертежи – «пути». Но и еще, иное, увидел он: «бездонную бездну бездн» – иначе и не назвать. И в этом – еще, другое, до осязания внятое всем существом его: тот огонек-проколик, «точку точек», – так в нем определилось, – «предел человеческих пределов, конец, бессилие».

– Со всяким подобное случалось, только без вывода, без «последнейточки», – рассказывал Виктор Алексеевич. – Вы лежите на стогу в поле, ночью, и заглянулись в небо. И вдруг звезды зареяли, запылали, и вы летите в бездонное сверканье. Но что же вышло, какой итог? Я почувствовал пустоту, тщету. И раньше сомнения бывали, но тут я понял, что я ограблен, что я перед *этим* как слепой крот, как эта пепельница! что мои силы, что силы всех Ньютонов, Лапласов, всех гениев, всех веков, до скончания всех веков, – ну, как окурочка этот!.. – перед этим «проколиком», перед этой булавоочной головкой-точкой! Мы дойдем до седьмого неба, выверим и начертим все пути и движения всех до-предельных звезд, вычислим исчисляемое, и все же – пепельница, и только. В отношении Тайны, или, как я теперь говорю благоговейно, – Господа-Вседержителя. Вседержи-те-ля! Это вот прежнего моего, что я найти-то тщился, занести на свои «скрижали», – Источника сил, из Которого истекает Все. Я почувствовал, что ограблен. Вот подите же, кем-то ограблен! Протест! Я, окурочка, – тогда-то! – не благоговейно, а проклинаю, готов разодрать сверкающее небо, будто оно ограбило. Не благодарю за то, что было мне откровение, – было мне откровение, я знаю! – а плюю в это небо, до обморока плюю. Теперь я понимаю, что и обморок мой случился не от чего-то, а от этого «оскорбления», когда я в один микромиг постиг, что дальше – *нельзя*, конец. И почувствовал пустоту и тоску такую, будто сердце мое сгорело, и там, в опаленной пустоте, только пепел пересыпается. Нет, не сердце сгорело: сердце этой тоской горело, а сгорело вот это... – показал он на лоб, – чудеснейший инструмент, которым я постигал, силился постигать сверхвсе.

После открывшегося ему комната показалась такой давящей, будто закрыли его в гробу и ему не хватает воздуха. Он забегал по ней, как в клетке, увидел синеющие кальки с путанными на них «путями неба», хотел сорвать со стены и растоптать и почувствовал приступ сердца – «будто бы раскаленными тисками». Подумал: «Конец? Не страшно».

Он не мог оставаться в комнате и выбежал на воздух. Была глубокая ночь, час третий. Он пошел пустынными переулками. Под ногой лопались с хрустом пленки подмерзших луж, булькало и журчало по канавкам. Пахло весной, навозцем, отходившей в садах землей. Москва тогда освещалась плохо. Он споткнулся на тумбочку, упал и ссадил об льдышки руку. «По земле-то не умеешь ходить, а...» – с усмешкой подумал он и услышал оклик извозчика: «Нагулялись, барин... прикажите, доставлю... двугривенничек бы, чайку попить». Голос извозчика его обрадовал. Он нашарил какую-то монету и дал извозчику: «На, попей». И услышал за собой: «А что ж не садитесь-то? Ну, покорно благодарим». Это «покорно благодарим» будто теплом обвело.

На Тверском бульваре горели редкие фонари-масленки. Ни единой души не попадалось. Он наткнулся на бульварную скамейку, присел и закурил. Овладевшая им тоска не проходила. Все казалось ему ничемным, без выхода: то были цели, а теперь вдруг открылось, что – ничего. Кончить?.., сказала в нем, и ему показалось, что это – выход. Так же, как в юности, в пору душевной ломки, когда он решил «все пересмотреть критически», когда полюбил первой любовью и эта любовь его – девочка совсем – в три дня умерла от дифтерита. И, как и тогда, он почувствовал облегчение: выход есть.

II. На перепутье

Мартовская ночь, потрясшая Виктора Алексеевича видением раскрывшегося неба, стала для него *откровением*. Но постиг он это лишь по прошествии долгих лет. А тогда, на Тверском бульваре, он был во мраке и тоске невообразимой.

– Стыдно вспомнить, – рассказывал он, – что это «неба содроганье» лишь скользнуло по мне... хлыстом. Какое там откровение! Просто, хлестнуло по наболевшему месту – по пустоте, которая завелась во мне, давно завелась, с самой утраты Бога, и заполнила все во мне, когда лопнуло мое «счастье». Вместо того чтобы принять «серафима», явившегося мне на перепутье, внять «горный ангелов полет», я только всего и внял, что «гад морских». Закопошились во мне, подушные, и отравляющей верткой мыслью я истачивал остававшееся во мне живое: «все мираж и самообман, и завтра все то же, то же». Если бы не покончил с собой, наверное, заболел бы, нервы мои кончались. Но тут случилось, что случается только в самых что ни на есть романтических романах и – в жизни также.

Он стал представлять себе, не без острого наслаждения, как это будет: не больше минуты, и... спазм дыхания, судороги, и – ничего, мрак. Он знал один кристаллик, как рафинад... если в стакане чай размешать ложечкой, и – глоток... Когда-то, при нем, техник Беляев, в лаборатории, ошибся – не вскрикнул даже. И потом *ничего* не будет. Эти грязные фонари будут себе гореть, а там... поглядел он в небо, где проступали звезды, – эти, светлые, будут сиять все так же, пока не потухнут все от каких-то неведомых законов, и тогда все «пути» закончатся... чтобы начать все снова? И ему стало грустно, что они еще будут, и долго, когда его не будет. А вдруг, *после того*, после «кристаллика», – и *откроется*? Мысль о «кристаллике» становилась острей, заманчивей. «Ничего не откроется, а... «лопух вырастет». Верно сказал тургеневский Базаров!..» – проговорил он громко, язвительно и услышал вздох, рядом. Вздрыгнул и поглядел: на самом краю скамейки кто-то сидел, невидный. Кто-то подсел к нему, а он и не заметил. Или – кто-то уже сидел, когда он пришел сюда?

Он стал приглядываться: кажется, женщина?.. сжавшаяся, в платке... какая-нибудь несчастная, неудачница, – для «удачи» все сроки кончились. Как с извозчиком в переулке, стало ему свободней, будто теплом повеяло, и ему захотелось говорить; но что-то удержало – пожалуй, еще за «кавалера» примет, и обратится в пошлость, в обычное «угостите папироской». Он испугался этого, поднялся – и сел опять.

– Я вдруг ясно в себе услышал – «не уходи!» – рассказывал Виктор Алексеевич. – Никакого там «голоса», а... жалость. Передалось мне душевное томление жавшейся робко на скамейке, на уголку. Если бы не послушал жалости, «кристаллик» сделал бы свое дело, наверняка.

– Я испугалась, что станут приставать, – много спустя рассказывала Дарья Ивановна, – сидела вся помертвелая. Как они только сели, хотела уйти сейчас, но что-то меня пристукнуло. У меня мысли путаются, а тут кавалер бульварный, свое начнет. Встали они – сразу мне стало легче, а они опять сели.

Он закурил – и при свете спички уловил обежавшим взглядом, что сидевшая – в синем платье, в ковровой шали, в голубеньком платочке, и совсем юная. Не мог усмотреть лица: показалось ему – заплакано. По всему – девушка-мастерица, выбежала как будто наспех.

– Я сразу поняла, что это серьезный барин, – рассказывала Дарья Ивановна, – и им не до пустяков, и очень они расстроены. И сразу они мне понравились. Даже мне беспокойно стало, что они покурят и отойдут.

При первых его словах, чтобы только заговорить, – «а который теперь час, не знаете?» – сидевшая сильно вздрогнула, будто ее толкнули, – это он почувствовал в темноте, не видел, – и не ответила, словно хотела остаться незаметной. Он повторил вопрос насколько возможно мягче, чтобы ее ободрить. Она чуть слышно ответила: «Не знаю-с...» – и вздохнула. По вздоху

и по этому робкому «не знаю-с» он почувствовал, что она действительно несчастна, запугана и, кажется, очень юная: голос у нее был как будто детский, *светлый*. Он почувствовал, как она отодвинулась на край скамейки и даже как будто отвернулась, и понял, что она его боится. Это его растрогало, и он стал ласково уверять, что бояться ей нечего, если она позволит, он проводит ее домой, а то уж очень поздно и могут ее обидеть... Она неожиданно заплакала. Он растерялся и замолчал. Она плакала всхлипами, по-детски, и старалась укрыться шалью. Он стал ее успокаивать, называл нежно – милая, остро ее жалея, спрашивал, какое у нее горе или, может быть, кто ее обидел?.. Она продолжала плакать.

– Я сразу поняла, что это особенный господин, – рассказывала Дарья Ивановна об этой «чудесной встрече», о самом светлом, что было в ее жизни до той поры, – и, должно быть, очень несчастный, как и я. Я плакала и от того, что со мной случилось, что некуда мне идти... а мне хоть руки на себя наложить, пойти на Москву-реку, в самое водополе кинуться... выхода мне не виделось. Ждала только, церковь когда откроют, помолиться перед Владычицей. Сидела на лавочке и ждала, все думала – нет мне доли. И от ихней ласки я плакала, жалко себя мне стало.

– Я забыл о своем... – рассказывал Виктор Алексеевич, – сердце мое расплавилось, и загорелось во мне желание утешить, спасти это юное существо, которому что-то угрожало. Я тогда подумал, что ее обесчестили, растоптали, и я присутствую при живой человеческой трагедии, и в моей власти эту трагедию разрешить. Подумайте: глухая ночь, на Тверском бульваре, и одинокая девушка рыдает! Мог ли я пройти мимо?

Он продолжал успокаивать ее, предлагал проводить ее до дома. Захлебываясь от слез, выдавливая слова толчками, – «совсем как обиженный ребенок!» – она несвязно выговорила: «у меня... не... куда... идти...» Он сказал, что оставаться ночью на улице ей нельзя, ее заберут в квартал, каждый человек должен иметь хоть какой-нибудь кров, что, наконец, он может нанять ее в прислуги и ему очень нужна прислуга, он совершенно одинокий, а ему надо по хозяйству, у него служба, книги, и... – пусть только ему поверит, у него никакой задней мысли, и не надо обращать внимания на предрассудки. Он не раздумывал, понятно ли ей все то, что он наскзал так страстно. А он, именно, «страстно» уговаривал, – вспоминала Дарья Ивановна, – так уговаривал, что мне думать стало и страх на меня напал». Он говорил ей с жаром, с восторгом даже.

– Да, с восторгом!.. – рассказывал Виктор Алексеевич. – Все идеальнейшее, что жило во мне когда-то... – оно никогда и не умирало! – во мне проснулось. Я почувствовал, как во мне оживает отмиравшее, задавленное «анализом», как пустота заполняется... как бы краны какие-то открылись, и хлынуло!.. Заполнилась этой вот незнакомой девушкой, «несчастной», о которой я еще ничего не знал. Плач ее, прерывавшийся детский голос – сказали мне *все* о ней, а я и не видел ее лица. И тогда же, при этой страстности, я каким-то краешком думал и о своем: «Пусть *там* бездонность и пустота, обман и мираж, а вот *живое*, и это страдающее живое протестует, вместе со мною протестует против хлада пространств небесных, против немой этой пустоты... создавшей страдающее *живое*». Мне даже тогда мелькнуло, что эти слезы, этот беспомощный детский всхлип опрокидывают «бездонность» и «хлад», и «пустоту» – что *это* как-то выходит из чего-то и – для чего-то. Ну, словом, я почувствовал, что пустота заполняется. Тогда еще я не видел ни ее светлых глаз, ни ее нежного юного лица... голос только ее я слышал, детский, горько жалующийся на жизнь. Ни тени дурной мысли, какого-нибудь пошлого, затаенного намека, что вот, юная, девушка... а я мужчина, давно безженный, уговариваю ее пойти ко мне. Только жалость во мне горела и грела душу.

Она перестала плакать, доверилась. Сказала – «как батюшке на духу сказала, так я уверилась», – что она золотошвейка, от Канителева, с Малой Бронной, с семи лет все золотошвейка, стала уж мастерица, что определил ее кто-то, а теперь сирота она... что Канителиха тоже померла недавно и теперь от хозяина нет житья, проходу не дает... всех мастериц на

«Вербу» отпустил, на гулянье, а ее оставил, приставать стал... заперлась от него в чулане... до ужина еще вырвалась, в чем была, все сидела – дрожала на бульваре...

Он узнал, что не к кому ей идти, только матушка Агния ее жалеет, монахиня в Страстном, знакомая теткина... лоскутки ей носит, матушке Агнии, а она одеяла шьет... что теперь бы с радостью в монастырь укрылась, и матушка Агния может похлопотать, только все ее деньги у хозяина, семьдесят рублей и паспорт, а монастырь богатый, так не берут, вот она и сколачивала на вклад, двести рублей желает матушка Ираида, казначея... что, может, возьмут за личико, все-таки не урод она... матушка-игуменья с чистым личиком очень охотно принимает, для послушания... и голос у нее напевный, в крылошанки сгодиться может... головщица с правого крылоса матушка Руфина не откажет, матушка Агния попросит... что святые ворота закрыты и она ждет заутрени: как ударят – тогда откроют.

Он слушал этот путаный полудетский лепет, в котором еще дрожали слезы, но сквозила и детская надежда, когда она говорила – «матушка Агния попросит». Говорила с особенной лаской, нежно – «Агния», со вздохом. Он так же, ласково, невольно перенимая тон, как говорит с детьми взрослые, радуясь, что не случилось «непоправимого», сказал ей, что все устроится, что, «конечно, матушка Агния попросит и двести рублей найдутся...» – и тут, в стороне Страстного, вправо от них, ударили. «Пускают...» – сказала она робко и встала, чтобы идти на звон. Но он удержал ее.

– Я хочу вам помочь. Вам надо разделаться с хозяином, получить жалованье и паспорт, – сказал он ей. – Вот моя карточка, я живу тут недалеко. Если что будет нужно, зайдите ко мне, я заявлю в полицию, и...

Она поблагодарила и сказала, что матушка Агния заступится, сходит сама к хозяину.

– Я испугалась, что такой господин так для меня стараются, – рассказывала Дарья Ивановна, – из-за девчонки-золотошвейки, да еще наш хозяин начнет позорить, а он ругатель... и что подумают про меня, что такой господин вступился...

Но он заставил ее взять карточку – мало ли что случится. А Страстной благовестил и звал. Она быстро пошла в рассвете. Он догнал ее и сказал, что дойдет с ней до монастыря, проводит. Она стала просить, чтобы не провожал: «Матушка Виринея нехорошо подумает, вратарница...» И тут он ее увидел: смутные, при рассвете, очертания девичьего лица, детские совсем губы, девственно-нежный подбородок, молящие, светлые глаза. На него повеяло с ее бледного, полудетского лица кротостью, чистотой и лаской. Он подумал: «Юная, милая какая!» Она поблагодарила его за доброту – «так обошлись со мной...», – в голосе задрожали слезы, – и пошла через площадь к монастырю. Он стоял у конца бульвара, следил за ней. Рассвет вливался, розовели стены монастыря. Было видно, как в святые ворота, под синий огонек фонарика-лампады, одиноко вошла она. Он почувствовал возвращавшуюся тоску свою.

Домой... Чтобы вернуть то светлое, что почувствовал он в себе на ночном бульваре, что вдруг пропало, как только она ушла, он перешел площадь и, раздумчиво постояв, вошел в монастырские ворота.

Он узнал широкий настил из плит – в детстве бывал тут с матерью, – занесенные снегом цветники и с чувством неловкости и ненужности того, что делает, вошел в теплый и полутемный храм, пропитанный душно ладаном. Глубоко впереди, перед смутным иконостасом, теплилась одиноко свечка. Тонкий девичий голос скорбно вычитывал молитвы. Он прислонился к стене и озирался, не понимая, зачем он зашел сюда. И увидел ее: она горячо молилась, на коленях. Тут хорошо запели, – словно пел один нежный, хрустальный голос: пели такое знакомое, забытое – когда-то и он пел это в церковном хоре, у Сретенья: «Чертог Твой вижду, Спасе мой, украшенный... и одежды не имам, да вниду в онь...» Он слушал, не без волнения, как повторили слева, мысленно пропел сам: «Просвети одеяние души моя, Светода-вче...» – рассеянно перекрестился, думая: «А хорошо, о-чень хорошо», – и под зоркими взглядами монахинь вышел на свежий воздух.

Так в темную мартовскую ночь, на Тверском бульваре, где поздней порой сталкиваются обычно ищущие невысоких приключений, скрестились пути двух жизней: инженер-механика Виктора Алексеевича Вейденгаммера, 32 лет, и золотошвейки Дарьи Ивановны Королевой, 17 лет. Случилось это в ночь на Великий Понедельник.

III. Искушение

Эта ночная встреча на Тверском бульваре стала для Виктора Алексеевича переломом жизни. Много спустя, перед еще более важным переломом, он признал в этом «некую, благодостно направляющую Руку». Но в то раннее мартовское утро, на Страстной площади, случившееся представилось ему только забавным приключением. Смешным даже показалось, как это он разыграл романтика: утешал на бульваре незнакомую девицу, растрогался, проводил до святой обители, для чего-то и сам вошел, постоял у заутрени и даже не без волнения взглядом искал ее в полумраке храма, – совсем как герой Марлинского или Карамзина. Но за усмешкой над «несчастливым героем нашим» была и мимолетная грусть, что милое это личико больше ему не встретится.

И вот что еще случилось.

Выйдя на площадь, освещенную ранним солнцем, розовую, «весеннюю» – так и назвал тогда, – он почувствовал небывалую легкость, радостное и благодостное, позабытое в юных днях, – «розовый свет какой-то, освобождение от каких-то пут, как бы душевное выпрямление». Мысль о «кристаллике», казавшаяся ему ночью выходом, теперь представилась совершенно дикой. Мало того: началось сразу, и очень бурно, совсем иное.

– Специалисты – невропатологи или физиологи... – разберутся в этом по-своему... – рассказывал Виктор Алексеевич. – Стыдно вспомнить, но мной овладело бурное чувство вождения. Теперь я знаю – и не только по «житиям», – что нечто подобное бывает с иноками, с подвижниками даже, и заметьте: во время сильнейшего душевного напряжения, когда все в них «вознесено горе», когда они предстоят перед наисвященнейшим, так сказать... и вдруг – «бесовское наваждение», бурное вождение, картины великого соблазна. Люди духовного опыта это знают. Бывало со мной и раньше нечто похожее: после большой умственной работы, экзаменов например, когда тело изнемогло, – в недрах, как бы в протест, начинается будоражение, раздражение «темных клеток», должно быть смежных со «светлыми». Я тогда так и объяснял, увлеченный работой Сеченова – «Рефлексы головного мозга». То же бывает после радений у сектантов. И вот, в то утро, после величественного «Чертога»... – и тогда мне, неверу, *никакому*, этот тропарь показался проникновеннейшим: «Просвети одеяние души моя, Светодавче!»... – после целомудреннейших, хрустальных голосов юниц чистых, курений ладанных я почувствовал бурный прилив хотений. Не сразу, правда. Сперва – восторг, так сказать, пейзажный: из-за монастыря, влево от меня, за голыми деревьями бульвара, над где-то там Трубной площадью, местом довольно «злачным», заметьте это... – розовым шаром солнце, первовесеннее. Воздух!., розовый воздух, розовый монастырь, розовые облачка, огнисто-розовые дома, розоватый ледок на лужах, золотистый навоз, подмерзший, но раздражающе-остро пахнувший. Ледок... в кружевах ледок, в кружевных пленочках-иголках, и под ними журчит водичка, первовесенняя. Увидел эти лужи-пленки, и, как мальчишка, давай похрустывать и смотреть, как из дырок свистят фонтанчики. Страстную радость жизни почувствовал, всеми недрами... и меня вдруг осыпал-защекотал какой-то особенно задорный, трескучий щебет откуда-то налетевших воробьев.

В таком розовом настроении он проходил по площади, и его чуть не сшибла мчавшаяся коляска с офицерами и девицей: мелькнули золотые эполеты, играющий женский голос задорно крикнул: «Гутмоэн-майн-киндхен!» – блеснула крахмальная оборка юбки. Его кинуло в жар от этого лета и голоса. Захотелось курить, но спичек не было – оставил, пожалуй, на скамейке. Он пошел бульваром – размашисто, распахнув пальто, – стало вдруг очень жарко. Издали увидел скамейку, подумал – не она ли? – и угадал: валялась под ней коробка серничков. Он сел, с жадностью закурил, и тут началось «искушение» – бурный наплыв хотений.

– Таких бурных, – рассказывал Виктор Алексеевич, – никогда еще не бывало... и в самых кощунственных подробностях, которыми я разжигал себя. И в центре всего этого омерзительного сора был этот чудесный монастырь с его благодатной лепотой, с голосами юниц и с той, которую я только что «спасал», а теперь... мысленно растлевал.

Он вызывал в мечтах милое личико, полудетское, нежное, бледное в наливавшемся рассвете, и трогательный голос, в котором теперь звучало глубокое-грудное, задорное, как крик промелькнувшей немки. Тут же припугнулась и белая оборка юбки, и синее платье, обтягивавшее ноги, и темные кудряшки, выбившиеся прядкой из-под платочка, и серые глаза в испуге, и по-детски раскрытый, беспомощный и растерянный, бледный рот, с чуть отвисавшей губкой. Эта беспомощность и растерянность привлекали его особенно. Ему представлялась такая возможная, но – досадно – неосуществившаяся картина: он уговаривает ее пойти с ним, и она растерянно готова, и вот они идут, в рассвете... и она остается у него. Он досадовал на себя, что поступил необдуманно, не отговорил ее от этой прикрытой благочестием кабалы, от даровой работы на тунеядок, на этих черно-хвостниц, важно пожевывающих губами матушек, игуменных, казначей. Припоминал рассказы-анекдоты о столичном монастыре у веселого бульвара, о милостивых послушницах и клирошанках, которых настоятельницы-ловчачки отпускают на ночь к жертвователям – купцам и всяким там власть имущим. И он, в сущности, сам толкнул юную, чистую девушку в эту яму, сказав, что двести рублей для вступления в монастырь найдутся. Возьмут ее с радостью, конечно... за одно золотошвейное мастерство, помимо всего другого... – хорошенькая, глаза какие! – там это нужно для всех этих пустаков-прикрытий – для «воздухов», покровов, хоругвей, чего там еще!.. – а в свободный часок будут отпускать напрокат, «во славу святой обители».

– Такие и еще более растлевающие мысли меня сжигали, – рассказывал Виктор Алексеевич. – Я, человек культурный, нес все эту – убедительную для меня тогда – чушь. Мне хотелось, просто, *иметь* эту беззащитную, но это хотение я старался прикрыть от таившегося во мне надсмотрщика. А хотение напирало, и я напредставлял себе, как веду ее, как она нерешительна, но потом, шаг за шагом... Даже утренний чай представил, с горячими калачами и «рюмочкой портвейнца»... – тут же у гастрономщика Андреева, против генерал-губернатора, прихватить икорки, сыру швейцарского, тянучек... – непременно тянучек, они очень тянучки любят, такие полудети, – фисташек и миндальных тоже, – все до точности расписал. И как она будет ошеломлена всей этой роскошью, как будет благодарна за спасение, и... Словом, я уже не мог сидеть спокойно. Наворачивать раздражающего мне уже было мало. Я даже позабыл, что к десяти мне надо в депо на службу, проверять паровозы из ремонта.

В таком состоянии одержимости он направился дальше по бульвару. Было еще безлюдно, а ему хотелось какой-нибудь подходящей встречи. Поднявшееся в нем *темное* закрыло чудесное розовое утро, и его раздражало, что бульвар пуст, что нет на нем ни вертлявых весенних модниц, ни жеманных немочек-гувернанток, ни даже молодых горничных или модисток, шустро перебирающих ногами, подхватив развевающийся подол. Дойдя до конца бульвара, он опять повернул к Страстному и увидел монастырь с пятью сине-золотыми главками за колокольней. Эти главки жгли его колким блеском сквозных крестов, скрытым под ними ханжеством. Дразнила мысль: зайти как-нибудь еще, послушать милостивых клирошанок, бледноликих и восковых, в бархатных, франтоватых, куколях-колпачках. Это казалось таким пикантным: «как траурные институтки». Казалось, что *все* может легко осуществиться: у нее есть его карточка, она может прийти к нему, попросить насчет паспорта или, просто, поблагодарить за участие... – «как обошлись со мной!» – можно уговорить, и она останется у него. Все казалось теперь возможным. Он спустился Страстным бульваром, постоял нерешительно у Петровских ворот и пошел вниз, к Трубе. На бульваре попала ему бежавшая с калачами горничная, и он посмотрел ей вслед, на ее бойкие, в белых чулочках, ноги. На Трубной пло-

щади, у «греховного» «Эрмитажа», стоял только один лихач. Он поманил его, даже не думая, куда и зачем поехать, но лихач почему-то отмахнулся.

С того утра началась угарная полоса блужданий, удачных и безразличных встреч. И во всех этих встречах и блужданиях дразнило и обжигало неотступно – «как зов какой-то», – казалось бы, уже потускневшее, как бы виденное во сне под сине-золотыми главками, за розовыми стенами, – милое личико под куколом. В блужданиях, ставших теперь обычными, средоточием оставался монастырь. Виктор Алексеевич, «как одержимый, в дрожи», приходил слушать пение, разглядывал миловидных клирошанок, но *ее* не видал ни разу. Были из них красивые, и все были затаенно-скромны. «Из приличия» он давал на свечи и даже снискал благоволение старушки-свешницы, которая уважительно ему кланялась и всегда спрашивала: «Кому поставить накажете-с?» Но за три месяца так и не решился спросить у нее, здесь ли послушница Даша Королева.

– Я кружился у монастыря, – рассказывал Виктор Алексеевич, – как лермонтовский Демон, и посмеивался – язвил себя. И чем больше кружил, тем больше разжигался. Тут столкнулись и наваждение, и... как бы привождение. Меня *вело*. Иначе нельзя и объяснить того, что со мной случилось. И вот, когда я почувствовал, что так дальше не может продолжаться, – я отказался от перевода в Орел с значительным продвижением по службе, стал запускать работу, и нервы мои расстроились невероятно, – я, наконец, решился.

В душный июльский вечер, когда даже на бульварах нечем было дышать, он вдруг почувствовал мучительную тоску, такую же безысходную, как в памятную мартовскую ночь, когда с облегчением думал о «кристаллике». Это случилось на бульваре. Он пошел обычной дорогой – к монастырю. Было часов шесть, ворот еще не запирали. Совсем не думая, что из этого может выйти, он спросил сидевшую, как всегда, у столика с оловянной тарелочкой пожилую монахиню, можно ли ему повидать «матушку Агнию». Старушка приветливо и даже с поклонами сказала, что сейчас вызовет привратную белицу, она и проводит к матушке. И позвонила в сторожевой. Этот «зовущий» колокол отозвался в сердце Виктора Алексеевича звоном «пугающим и важным». «*Началось*» – так и подумал он. А старушка допрашивала, не родственничек ли будет матушке Агнии: «она у нас из хорошего звания, дочка 2-й гильдии московского купца была, из Таганки... пряниками торговали». Привратная белица повела его в дальний корпус, мимо густо-пахучих цветников, полных петуний и резеды; белицы, во всем белом, их поливали молча.

В глубокой, благостной тишине, в запахе цветов, показавшемся ему целомудренным и богатным, в робких и затаенных взглядах из-под напущенных на глаза белых платков трудившихся над цветами белиц, в шорохе поливавших струек, в верезге ласточек, в дремлющих на скамьях старушках – во всем почувствовался ему «мир иной». Тут, впервые, он ощутил неуловимо-бегло, что «эта жизнь имеет право на бытие», что она «чувствует и поет молчанием».

– Я ощутил, вдруг, боясь и стыдясь додумывать, – рассказывал Виктор Алексеевич, – что все эти девушки и старухи выше меня и чище, глубже... что я забрался сюда, как враг. Я тогда в самом деле почувствовал себя *темным*... нечистым себя почувствовал. Я старался прятать глаза, словно боялся, что эти, *чистые*, все узнают и крестом преградят дорогу. Но при этом было во мне и поджигающее, «бесовское», что вот, мол, я, демон-искуситель, *переступлю!* Некое романтическое ухарство. И – присутствие *силы*, которая ведет меня, и я бессилен сопротивляться ей.

«Переступал», а ноги дрожали и слабели. Он кланялся вежливо особенно почтенным старицам, недвижно сидевшим с клюшками. Властный голос опросил белицу: «Не к матери ли Ираиде?» – и белица ответила, склонившись: «К матушке Агнии, сродственник». Вот уж и ложь; но – «началось», и теперь будет продолжаться. В прохладном каменном коридоре белица

тихонько постучала, пропела тонехонько «входное», и Виктор Алексеевич получил разрешение войти.

Он увидел высокое окно в сад, наполовину завешенное полотняной шторой, а у окна, на стуле, сухенькую старушку, торопливо повязывавшуюся платочком. Старушка, видимо, только что читала: лежала толстая книга и на ней серебряные очки. Были большие образа и ширмы, и обвитая комнатным виноградом арка в другой покой. Старушка извинилась, что встать не может, ноги не слушают, предложила сесть и спросила: «От какого же родственника изволите вы пожаловать?» Спросила об имени и отчестве. Он смотрел на нее смущенно: такая она была простая, ясная, ласковая, доверчивая.

– Я растерялся, – рассказывал Виктор Алексеевич, – смотрел на нее, будто просил прощения, и чувствовал, что матушка Агния *все* простит. И тут же сообразил, что вполне естественно мне спросить: старушка такая и не подумает ничего худого, совсем она простосердная... такую всегда обманешь. «Началось» – надо продолжать.

И он спокойно, даже деловито сказал, в чем дело... что его интересует участь несчастной девушки, и надо бы ему раньше, но по делам был в отлучке и запоздал. Старушка выслушала, ласково поглядела, улыбнулась, и засияло ее лицо. Она обернулась к арке, в другой покойник, и сказала, как бы показывая туда:

– А как же, батюшка... со мной живет, вон она, сероглазая-то моя!

Эти простые слова показались ему «громом и молнией»: ослепило его и оглушило. Он даже встал и поклонился матушке Агнии. Но она приняла это совсем спокойно, сказала: «Зачем же благодарите, батюшка... сирота она, и я ее тетку знала, а золотые руки-то какие... такую-то каждый монастырь примет да еще порадует. И не благодарите, батюшка... и матушка-игуменья рада. Мы бы давно к вам пришли, да ноги не пускают... велела ей, сколько раз говорила – пошли хоть письмецо доброму барину, поблагодари, а она... совестливая такая, стесняющаяся, боялась все – «ну-ка, они обидятся». «Ну вот, Дашенька, а теперь сам барин пришли справляться... хорошо разве, человека такого беспокоим!» – сказала старушка в другой покой, а Виктор Алексеевич сидел и мучился – теперь уже другим мучился: и таких-то – обманывать!

– Будто случилось чудо, – рассказывал Виктор Алексеевич. – Простые слова, самые ходячие слова сказала матушка Агния, но эти слова осветили всего меня, всю мерзость мою показали мне. Передо мной была чистота, подлинный человек, по образу Божию, а я – извращенный облик этого «человека», и я с ужасом... с ужасом ощутил бездну падения своего. То, *темное*, вырвалось из меня, будто оно сидело во мне, как *что-то*, отделимое от меня, вошедшее в меня через наваждение. Оно томило меня, и вот, как «бес от креста», испарилось от этих душевных слов. Ну-да, физиологи, психологи... они объяснят, и по-своему они правы... но и я, в своих ощущениях, тоже прав: темная сила меня оставила.

А ведь я шел на грех – ну, «греха» тогда я не признавал, – на низость, если угодно, шел, на обман. Обмануть эту Агнию... человеческую овечку эту, выведать про девицу и девицу совратить, сманить, обманно вытащить ее из-за этих стен, увлечь, голову ей вскружить и оставить для себя, пока она нужна... а там!.. Не задумывался, что будет «там». И – сразу перевернулось на иное...

А вышло так. Старушка не раз выкликнула Дашеньку, но та только робко, чуть слышно, «как ветерок», отвечала: «Я сейчас, матушка». Он ожидал смущенно, раздавленный всей этой чистотой и ясностью, а матушка Агния, благодушно мигая, как делают, когда говорят о детях, поведала шепотком, что это она стыдится такого господина, глаз показать боится... «А уж как она про вас... редкий день не помянет... – «Господь мне послал такого святого господина» – так все и поминает. Она и в обитель-то к нам боялась тогда, как тоже поглядят... ну-ка, побрезгуем, не поверим, матушка-то игуменья строгая у нас, ни-ни... ну-ка, какое недоумение с кварталным или там девичье обстояние, – вот и боялась. А вы, как Ангел Хранитель были, наста-

вили ее про обитель, она и укрепилась. Разобрали дело, послали письмо квартальному, а нас он уважает, – с Канителева и истребовали пачпорт. А она – золотые руки, и голосок напевный, скоро и в крылошанки благословится на послушание певное... стихирки со мной поет, живая канареечка».

Он слушал воркующий шепоток, и тут появилась Дашенька. Она не вошла в покой, а остановилась под виноградом, молвив послушливо: «Что, матушка, угодно?»

– В этот миг все для меня решилось, – рассказывал Виктор Алексеевич. – Это была не та, какую я, *темный*, вождением рисовал себе. Передо мной была осветленная, возносящая красота. Не красота... это грубое слово тут, а прелестная девичья чистота... юница, воистину непорочная. Большие, светлые, именно – осветляющие, звездистые, глаза... такие встречаются необычайно редко. В них не было тревожного вопрошания, как тогда: они кротко и ласково светили. Раз всего на меня взглянула, осияла и отвела. И я понял, что отныне жизнь моя – в ней, или все кончится.

Матушка Агния сказала: «Ну, сероглазая моя, подойди поближе, не укусят». Она подошла ближе и сказала, кланяясь чинно, как белица: «Благодарю вас покорно, барин». Он поднялся и поклонился ей молча, как перед тем поклонился матушке Агнии: исходившему от нее *свету* поклонился.

– Теперь это мне ясно, – вспоминал Виктор Алексеевич, – я поклонился *пути*, по которому она повела меня...

Он сказал, обращаясь к матушке Агнии, что он очень рад, что благой случай устроил все. Старушка, поправила: «Не случай, батюшка, а Божие произволение... а случай – и слово-то не подходящее нам...» – и улыбнулась ласково.

Он «в последний раз» – казалось ему тогда – оглянул белицу, от повязанного вокруг белого платочка с ясной полоской лба, от сияющих глаз, от детски пухлого рта, по стройному стану, в белом, все закрывающем одеянии, до земли. Поклонился и вышел, провожаемый добрым взглядом и словами матушки Агнии, спохватившейся: «Да проводи ты, чего замаялась... как бы они не заплутали».

Не было слышно шагов за ним.

IV. Грехопадение

По рассказам Виктора Алексеевича и по «Смертной записке к ближним» Дарьи Ивановны, эта июльская встреча в келье матушки Агнии осталась для них благословеннейшим часом жизни. С этого часа-мига для него началось «высвобождение из потемок», для нее – «греховное счастье, страданием искупаемое».

Выйдя из монастырских ворот на Тверской бульвар, Виктор Алексеевич даже и не заметил ни многолюдства, ни «черной ночи», вдруг свалившейся на Москву: от Триумфальных ворот, с заката, катилась туча, заваливая все отсветы потухающей зари, все небесные щели, откуда еще, казалось, текла прохлада; сдавила и высосала воздух и затопляющим ливнем погнала пеструю толпу, устрашая огнем и грохотом. Виктор Алексеевич стоял на пустом бульваре, насквозь промокший, сняв свою майскую фуражку и с чего-то размахивая ею, – «приветствовал Божий гром».

– Я тогда все приветствовал, словно впервые видел, – рассказывал он, – монастырь, розовато вспыхивавший из тьмы, бившие в кресты молнии. Я был блаженно счастлив. Все изменилось вдруг, получило чудесный смысл – какой, я не понимал еще, но великий и важный смысл. Будто сразу прозрел душевно... не отшибком себя почувствовал, как это было раньше, а связанным со *всем*... с Божьим громом, с горящими крестами, с лужами даже, с плавающими в них листьями. Озарило всего меня, и сокровенная тайна бытия вдруг открылась на миг какой-то, и *все определилось*, представилось непреложно-нужным, осмысленным – и живым, в свято-премудром *плане*, – в «Живой Механике», а не в «игре явлений»... иначе не могу и выразить: и этот страшный гром, и освежающий ливень, и монастырь у веселого бульвара, и кроткая матушка Агния, и – *она*, девичья чистота и прелесть. Смыло, смело грозой всю мою духоту-истому, от которой хотел избавиться, и я почувствовал ликование – все обнять!

Это желание «обнять мир» вышло не от избытка духовности, как у Дамаскина или Франциска Ассизского, а из родственного сему – из светлого озарения любовью.

– С той встречи, с того *видения* в келье, с той освежительной грозы я полюбил впервые, – рассказывал Виктор Алексеевич, – хотя я любил и раньше. Но те любви не озаряли душу. Да что же это?! Она, простая девушка, монастырка, не сказала мне и двух слов, ничего я о ней не знал, и вот... только звук ее голоса, грудного, несказанная чистота ее, внятая мной, вдруг, и эти глаза ее, кроткий и лучезарный свет в них... очаровали меня, пленили и повели. И, не рассуждая, я вдруг почувствовал, что именно в этом моем очаровании и есть *смысл*, какая-то бесконечно малая того Смысла, который я ощутил в грозу, – в связанности моей со *всем*.

С того июльского вечера начались для Виктора Алексеевича мучения любовью и в мучениях – «духовное прорастание». А для Дарьи Ивановны было совсем иное. В оставленной ей «смертной» значилось так:

«Сердце во мне сомлело, только его голос услышала. И тут почудилось мне, что это моя судьба, великая радость-счастье, и большое горе, и страшный грех. Я побоялась показаться, а сами руки стали повязывать платочек. А зеркальца не было, и я к ведерку нагнулась, только что воды принесла цветочки полить: жара была. Взглянула на Страстную Матерь Божию и подумала в сердце, будто Пречистая мне велит: «Все прими, испей». И вот, испила, пью до сего дня. Сколько мне счастья было, и сколько же мне страдания. А как вышла и увидала лицо его и глаза, ласковые ко мне, тут я и отнялась вся и предалась ему. И такая стала бессильная, что вот возьми меня за руку и я ушла бы с ним и все оставила».

И через страницы, дальше:

«Тогда томление во мне стало греховное, и он приходил ко мне в мечтаниях. А молитвы только шептались и не грели сердце».

А для него началось «горение вдохновенное». Его оставили темные помышления, и он одного хотел: видеть ее всегда, только хотя бы видеть. Ему предложили уже не Орел, а Петербург: его начальник, очень его ценивший, был назначен по Главному управлению и тянул с собой. Но он отказался, «сломал карьеру».

С того грозового вечера кончились его встречи на бульварах, прогулки на лихачах, с заездами на Ямскую и в укромные норки «Эрмитажа». Все это отступило перед прелестной девичьей чистотой, перед осветляющими, лучистыми глазами. Это была самая чистая, благоуханная пора любви, даже и не любви, а «какого-то восхищения всем, меня окружавшим, над которым была она, за монастырской стеной, уже почти отрешенная от мира, как бы уже *назначенная*». Он не думал, что *она* может стать для него доступной. Он перечитал – что-то его толкнуло – «Дворянское гнездо», и вот, Лиза Калитина чем-то напомнила ему Дариньку – в мыслях так называл ее. Он припоминал все, что случилось в келье, даже как прыгали семечки и брызги из клетки с чижигом, и как одно зернышко упало на белый платочек Дариньки, и она повела глазами. И чайную чашку вспомнил, с синью и золотцем, «В День Ангела», и веточку синего изюма. И огромные пальцы у изразцовой печи, с голубым атласным одеялом, «для новобрачающихся», сказала матушка Агния.

Он признал благовест Страстного и таил от себя, что ждет его каждую субботу. Заслышав тягучий зов, он шел на Тверской бульвар, бродил до сумерек и незаметно оказывался в толпе молящихся. Ему уже кланялись монахини и особенно низко – свешница с блюдом, когда он совал смущенно рублевую бумажку. Раз даже увидел сидевшую в уголку, с четками, кроткую матушку Агнию и почтительно поклонился ей, и она тоже поклонилась. Не без волнения слушал напевные голоса милоликих клирошанок, стараясь признать знакомый.

И вот, глубокой зимой, когда помело метелью, за всенощной под Николин день, потянулись для величания с клиросов, и в перерывах восторге он увидел, наконец, ее. Шла она от правого клироса за головщицей, высокой, строгой, с каменно-восковым лицом, манатейной монахиней Руфиной. Другая она была, какую увидел на рассвете, детски испуганную... и не та, осветленная, с осиявшими его лучезарными глазами. Траурная была она, в бархатном куколе-колпачке, отороченном бархатной, в мелкой волне, каемкой, выделявшем бледное, восковое, прозрачное лицо, на котором светились звездно, от сотни свечей-налепок, восторженно-праздничные глаза. Лицо ее показалось ему одухотворенным и бесконечно милым, чудесно-детским. Наивно-детски полуоткрытый рот, устремленные ввысь глаза величали Угодника, славили восхищенно – «правило веры и образ кротости». Он слышал эти слова, и «образ кротости» для него был ее образом кротости, чистоты, нежной и светлой ласки.

– Я слушал пение, и эта святая песнь, которую я теперь так люблю, пелась как будто ей, этой юнице чистой. Во мне сливались обожествление, восхищение, молитва... – рассказывал Виктор Алексеевич. – Для меня – «смирением высокая, нищетой богатая»... – это были слова о ней. Кошунство. Но тогда я мог упасть перед ней, ставить ей свечи, петь ей молитвы, тропари, Пречистой! Да, одержимость и помутнение, кошунство. Но в этом кошунстве не было ничего греховного. Я пел ей взглядом, себя не помня, продвинулся ближе, расталкивая молящихся, и смотрел на нее из-за шлычков-головок левого клироса. На балах даже простенькие девичьи лица кажутся от огней и возбуждения прелестными. Так и тут: в голубых клубах ладана, в свете паникадил, в пыланье сотен свечей-налепок, в сверкающем золоте окладов светлые юные глаза сияли светом неземными, и утончившееся лицо казалось иконным ликом, ожившим, очеловечившимся в восторженном молении. Не девушка, не юница, а... иная, преображенная, новая.

Он неотрывно смотрел, но она не чувствовала его, вся – в ином. И вот – это бывает между любящими и близкими по духу – он взглядом проник в нее. Молитвословие пресеклось на миг, и в этот миг она встретилась с ним глазами... и сомлела. Показалось ему, будто она хотела вскрикнуть. И она чуть не вскрикнула – рассказывала потом ему:

«Я всегда следила за молящимися, ждала. И много раз видела, и пряталась за сестер. И тогда я сразу увидела, и, как сходились на величание, молила Владычицу дать мне силы, убересть от соблазна – и не смотреть. И когда уже не могла – взглянула, и у меня помутилось в голове. Я едва поднялась на солею и благословила у матушки Руфины уйти из храма, по немощи».

Он видел, как ее повела клирошанка, тут же пошел и сам, но на паперти не было никого, крутило Никольской метелью.

А наутро накупил гостинцев: тянучек, халвы, заливных орехов, яблочной пастилы, икры и балычка для матушки Агнии, не забыл и фиников, и винных ягод, и синего кувшинного изюма и приказал отнести в Страстной, передать матушке Агнии – «от господина, который заходил летом».

– Они были потрясены богатством, – рассказывал Виктор Алексеевич, – и матушка Агния возвела меня в святые, сказала: «Это Господь послал».

Началось разгорание любви. Они виделись теперь каждую всюнощную и искали друг друга взглядами. Находили – и не отпускали. Ему нравилось ее робкое смущение, вспыхивающий румянец, загоравшиеся глаза, не осветляющие, не кроткие, а вдруг опалявшие и прятавшиеся в ресницах. Взгляд ее делался тревожней и горячеей. После этих всюнощных встреч она молилась до исступления и томилась «мечтанием».

– Я ее развращал невольно, – рассказывал Виктор Алексеевич. – Она каялась в помыслах, и старенький иеромонах-духовник наложил на нее послушание – по триста земных поклонов, сорокодневие.

Так, в обуревавшем томлении, подошла весна. Хотелось, но не было предложения, как в июле, зайти к матушке Агнии, справиться о девице Королевой. На Страстной неделе, за глубочайшими службами, распаленный весенним зовом, Виктор Алексеевич соблазнялся в храме и соблазнял. Это были томительно-сладостные дни, воистину – *страстные*. За Светлой заутренней был восторг непередаваемый: «В эту Святую ночь я только ее и видел!» Они целовались взглядами – сухо-пылающими губами. Он едва сдержался, чтобы не пойти в келью матушки Агнии. И опять, как в Николин день, послал с молодцом из магазина заранее заготовленное «подношение», до... цветов. Послал и сластей, и закусок, и даже от Абрикосова шоколадный торт, и высокую «бабу», изукрашенную цукатами и сахарным барашком, и – верх кощунства! – «христосованье»: матушке Агнии большое розовое яйцо, фарфоровое, с панорамой «Воскресения», ей – серебряное яичко, от Хлебникова, с крестиком, сердечком и якорьком, на золотой цепочке.

– Представьте тридцатитрехлетнего господина, так подбирающегося к юнице чистой, к хранимому святостью ребенку... – рассказывал Виктор Алексеевич. – Без думы о последствиях, да. Да еще пасхальное яичко, с «эмблемами»!

В субботу на Святой, в теплый и ясный день, когда он пришел со службы, по-праздничному рано, когда в открытые окна живописного старого особняка, выходящего в зеленевший сад, доносился веселый трезвон уходившей Пасхи и нежное пенье зябликов... – в то время в Москве были еще обширные и заглохшие сады, – подгромыхал извозчик, и у парадного тихо позвонились. Он пошел отпереть – и радостно, и смущенно растерялся. Приехали гости совсем неожиданные: матушка Агния, в ватном салопе, укутанная по-зимнему, в семь платков, и тоненькая, простенькая черничка Даша. Тут же они ему и поклонились, низко-низко, подобострастно даже. Он не мог ничего сказать, не понимал и не понимал, зачем же они приехали, и отступил перед ними, приглашая рукой – войти. Матушка Агния, которую молча раскутала черничка, стала искать иконы, посмотрела во все углы, перекрестилась на сад, в окошко, и умиленно пропела:

«А мы к вашей милости, сударь, премного вами благодарны за заботы о нас, сиротах... втайне творите, по слову Божию... спаси вас Господи, Христос Воскресе. Узнали сердцем,

Дашенька учуяла, что от вашей милости... на Светлый День взысканы от вас гостинчиком вашим и приветом... уж так задарены... глазам не верим, а поглядишь...»

Он растерянно повторял: «Что вы, что вы» – и увидел благоговеющий взгляд, осиявший его когда-то, милые руки девичьи, вылезавшие сиротливо из коротких рукавчиков черного простого платья совсем монастырского покроя, и ему стало не по себе – чего-то стыдно. А матушка Агния все тараторила напевно, «человеческая овечка»:

«Примите, милостивец, благословение обители, освященный Артос, всю Святую Неделю во храме пет-омолен, святой водицей окроплен, в болезнях целения подает... – и она подала с полуземным поклоном что-то завернутое в писчую бумагу и подпечатанное сургучиком. – А это от нее вот... ее трудами, уж так-то для вас старалась, весь пост все трудилась-вышивала...»

И развернула белоснежную салфетку.

«Под образа подзорчик, по голубому полю серебрецом цветочки, а золотцем – пчелки... как живые! Работа-то какая, загляденье... и колоски золотцем играют... глазок-то какой... прямо золотой, ручки серебряные. А образов-то у вас, как же... нету?» – спросила она смущенно, оглядывая углы.

Он смутился и стал говорить невнятное.

– Мне стало стыдно, – рассказывал Виктор Алексеевич, – что я смутил эту добрую старушку и оробевшую вдруг черничку, светлую. Но я нашелся и объяснил, надумал, что образа там... а тут... отдан мастеру «починить»!.. Так и сказал – «починить», как про сапоги, вместо, хотя бы, «промыть», что ли, – и вот, к Празднику *такому*... и не вернул!

Матушка Агния посокрушалась, справилась, какой образ и чье будет «благословение», и сказала, как бы в утешение, что и у них тоже, в приделе Анастасии-Узорешительницы, отдали так вот тоже ковчежец, из-под главки, посеребрить-почистить, а мастеров-то пьяненький, он и позадержал... а время-то самое родильное, зимнее... зачинают-то по весне больше, радости да укрепления приезжают к ним получить, а ковчежца нет... печали-то сколько было. И велела «сероглазой моей» достать подарочек – тувельку-подчасник, вишневого бархата, шитую тонко золотцем: два голубка целуются. Это его растрогало, такая их простота-невинность: невесты такое дарят или супруга любимому супругу. Он развязно раскланялся, даже расшаркался и сказал: «Вот отлично, это мы вот сюда пристроим» – и приколот уже всунутой в петельку булавкой на стенку к письменному столу. А они стеснительно стояли и робко оглядывали длинные полки с книгами и синие «небесные пути», давно забытые. Он предложил им чая, но матушка Агния скромно отказалась:

«Мы к вам, сударь, уж поимши чайку поехали... а хозяйюшки-то у вас нету, одни живете? Что же вам беспокоиться. Простите, уж мы пойдем. Так вы нас обласкали, уж так приветили... и сиротка моя, первого такого человека увидела, молимся за вас, батюшка. А она теперь уж первый голосок на крылосе, не нахвалится матушка Руфина, всякие ей поблажки. Узнала, благодарить мы едем, двадцать копеечек из своих на извозчика нам дала, как же-с. А уж такая-то бережливая... да и то сказать, какие у нас доходишки, чего сработает одеялами, вот стегаем, а то все добрые люди жалуют. Обитель у нас необщежительная, а все сам себе припасай. А меня ноги поотпустили, фершалиха наша из обеих натеков повыпуста-облегчила, а то бы и службы великие не выстоять. Вот мы и добрались до вашей милости...»

Она еще долго тараторила. Он все-таки упросил ее присесть и выкушать хоть полрюмочки мадерцы. Она все отказывалась и благодарила, но все-таки присела и выпила мадерцы, хоть и не надо бы. Пригубила и черничка, опустив долгие темные ресницы и облизнулась совсем по-детски. Он стал настаивать, чтобы она выпила все, до донышка. Она, в смущении, покорила, щеки порозовели, на глазах проступили слезы. Сидела молча и робко оглядывала стены и на них синие, непонятные ей листы. Потом стала смотреть в окошко, на еще жиденькую сирень.

«Синельки-то у вас что будет! – радовалась матушка Агния. – Да что же это мы, Дашенька... так и не похристосовались с господином, а он нам... Яичко ваше под образа повесила, под лампадку, молюсь – и вспомню... А сероглазая-то моя сердечко ваше, и крестик, и цепочку— все на себе носит, на шейку себе повесила, покажь-ка милому барину...»

И сама вытянула из-за ворота Дашеньки цепочку и навески. Дашенька сидела, как изваяние, опустив глаза, словно и не о ней речь. Не подымая ресниц, заправила цепочку. А старушка все тараторила:

«Как же, как же... писанки с нами, в плечико поцелуем хоть...» – и она вынула из глубокого кармана розоватые писанки, с выцарапанными добела крестами и буквами «Х. В.».

Он принял писанки, приложился к виску матушки Агнии, а она поцеловала его в плечико. Потом, обняв Дашеньку глазами, он взял сомлевшую ее руку и, заглянув в убегающие глаза, трижды крепко поцеловал ее в податливый детский рот. Она шатнулась, и невидящие глаза ее наполнились вдруг слезами.

«Обычай святой, Господний...» – умилилась матушка Агния, не замечавшая ничего.

Он проводил их, запер парадное и высунулся в окно. Дашенька вела матушку Агнию, и он ждал, не оглянется ли она. Она не оглянулась. И когда они доплелись до поворота переулка, он вспомнил, что не дал им денег на извозчика, а у них, пожалуй, и на извозчика нет.

– Вел я себя, как щелкопер, – рассказывал Виктор Алексеевич. – Эти поцелуи я и до сего дня помню. И все вранье, и любованье ее смущением и целомудрием. Пришли, чистые обе, принесли святое, а я... смаковал, в мечтах... И осталось это во мне, греховное, до конца, до самого страшного...

Это «самое страшное» пришло скоро и неожиданно – «как вихрем налетело». Виктор Алексеевич крепко помнил тот майский день – «неделю о слепом», – «ибо я, именно, был слепой!» – неделю шестую по Пасхе, воскресенье.

С «христосованья» он так и не заходил в Страстной. Пришлось поехать в командировку, случилось где-то крушение, и надо было принимать разные комиссии. С взбитыми нервами, уставший, вернулся он к себе ранним утром и не узнал квартиры: за недели его отсутствия все распустилось и разрослось в саду, в комнатах потемнело, и сильная, пышная сирень так и ломилась в окна. Он распахнул их с усилием и так и ткнулся в душистые облака цветов. Застоявшийся воздух в комнате сменился горько-душистой свежестью, кружившей голову после вагонной ночи. Он выпил крепкого чая с ромом, с наслаждением закурил и сел на подоконник. Сирень щекотала ему щеки, и ее горьковатый запах вызвал в его душе нежную грусть о *ней* – о «милрой девочке», которую не видал с самого «поцелуя», его обжегшего. И вот, кто-то чуть позвонил в парадное. Он пошел отпереть – и вдруг увидел *ее!* Он даже отшатнулся, увидав заплаканные, молящие глаза... подумал: «Случилось что-то... убежала из монастыря?...» – и в нем пробежало искрой, «поганенькой надеждой».

– Именно, подленькой надеждой на ее беззащитность, беспомощность. Мелькнуло мне: вот, пришла... к «доброму барину»... И добрый барин достойно ее принял.

Что же случилось? Обыкновенное, но великое горе для нее: ночью внезапно скончалась матушка Агния. Обливаясь слезами, как ребенок, она лепетала спутанно, словно прося защиты: «Никого теперь... бабушка тихо отошла... склонилась и отошла... – она называла теперь не по-уставному – матушка, а по-родному, – «читала Писание... никого теперь... побежала сказать, утра все дожидалась... бабушка раньше наказывала, чуть что... предупредить... похороны послезавтра... парадные похороны...» Она плакала надрывно, всхлипами, как на ночном бульваре, в мартовскую ночь, потрясшую его «откровением раздавшегося неба». В нем защемило сердце, и он стал утешать ее. А она лепетала, всхлипывая и надрываясь: «Отошла тихо... склонилась на бочок...» Он слушал, стоя над ней, обнимая ее за плечи и прижимая к себе, жалея. Он говорил ей совсем невнятное, держал за холодную трепетную руку и смот-

рел в залитые слезами, блистающие глаза ее, ослепленные ярким солнцем, поднявшимся из-за сиреней.

Он усадил ее на диван, говорил нежно, страстно: «бедная моя, девочка моя... успокойся...» – не помня себя, стал целовать ей руки, жалкие мокрые глаза, прижимая ее к груди. Не помня себя, не понимая, может быть, смешивая его с кем-то, ласково утешающим, она трепетала в рыданиях на его груди. Он целовал ей детский, сомлевший рот, выбившиеся из-под платочка темные кудерки... Она открыла глаза, по которым застлало тенью, и иступленная его жалость перелилась безвольно в страстное иступление... – в преступление.

Произошло ужасное, чего он хотел и ждал, что связало на счастье и на муки.

Он был на погребении матушки Агнии. В те часы он ничего не помнил, не помнил даже светлого, «как бы ангельского лика» рабы Божией новопреставленной инокини Агнии. Но помнил до мелочей, как через день после похорон, когда Дашенька была уже у него, как вошел в пахнувшие кипарисом и елеем покои настоятельницы, строгой и властной, – кажется, бывшей баронессы, и объявил, что девица Дарья Королева оставляет обитель и будет жить у него. Настоятельница пожевала презрительно губами, отыскивая слова, и ответствовала холодным тоном:

«Вы, сударь, совратили с пути девчонку... сделали гадость, как делают все у вас. Наша обитель... – и холодные, черные глаза ее вдруг зажглись, – *такой* в нашей обители места нет! Но паспорта ее я вам не дам, будет переслано в квартал».

Он подчеркнуто-дерзко поклонился и вышел, провожаемый взглядом испуганных келейниц, которые слушали за дверью. Словом, разыграл оскорбленного за сиротку, как он рассказывал.

Все случилось «как бы в стихийном вихре», как в иступлении. Он тут же поехал к полицмейстеру, который был в приятельских отношениях с покойным его отцом, и объяснился, «как на духу». Бывший кавалерист покрутил молодецкий ус, хлопнул неожиданно по коленке и сказал ободряюще:

«Молодцом! И никаких недоразумений. Для девицы опека кончилась, и началось попечительство... девица может, если желает того, избрать себе попечителем кого угодно. А раз избирает вас, могу только приветствовать. А паспорт перешлем вам через квартал».

Так завершилась первая половина жизни Виктора Алексеевича.

V. Темное счастье

Сияющее утро мая, когда случилось «непоправимое и роковое» – Виктору Алексеевичу только впоследствии открылось, что это было роковое, – явилось в его жизни переломом: с этой грани пошла другая половина его жизни – прозрение, исход из мрака. Уже прозревший, много лет спустя, прознал он в этом утре – «утро жизни», перст указующий: то было утро воскресенья, «недели о слепом», шестой по Пасхе. Так и говорил, прознавши: «Был полуслепым, а в это ослепительное утро ослеп совсем, чтобы познать Свет Истины». Если бы ему тогда сказали, что через грех прозреет, он бы посмеялся над такой «мистикой»: «Что-то уж очень тонко и... приятно: грешками исцеляться!» Невер, он счел бы это за кощунство: осквернить невинность, юницу, уже назначенную Богу, беспомощную, в тяжком горе, – и через надругательство *прозреть!*.. Много лет спустя старец Амвросий Оптинский открыл ему глаза на тайну.

Ослепленный, он повторял в то утро: «Как разрешилось... как неожиданно счастливо!» Высунувшись в окно, долго смотрел вослед, как шла она, пригнувшись, будто под тяжелой ношей, и повторял, безумный: «О, светлая моя... какое счастье!..» Ни сожаленья, ни угрызений, ничего. Видел сиявшие глаза, в слезах, руки у груди, ладонками, в мольбе, в испуге, слышал лепет померкших губ: «Господи... как же я пойду... *туда?*..» Вспоминал бессвязные успокоенья: «Ты иди пока... на похороны надо, а потом устроим... будешь всегда со мной, моя... бесценная, девочка моя святая...»

Все ослепительно сияло в это утро. Солнце заливало сад, густой-зеленый, майский, весь в сверканьях; слепящая синь неба, сирень в росе, в блистании, заглядывала в окна пышными кистями, буйной силой; радужно сиял хрусталь на люстре, блеск самовара и паркета, не выпитая ею мадера в рюмке, с пунцовым отражением на скатерти... и, светлая, она, с блиставшими от слез глазами... – так и осталось это ослепление светом.

Виктор Алексеевич помнил, «как свет всей жизни», это ослепление счастьем: как обнимал сирень, в восторге, «в росе купался», прижимал к груди – свою любовь. Пунцовый шелк дивана пылал на солнце, сверкало золотой искрой. Он узнал цепочку, свой подарок – крестик с якорьком и сердцем, прильнул губами и целовал – и шелк, и золото, – свою любовь. Помнил, как пели птицы в солнечном саду, и благовест Страстного, – свет и звон.

Подводя итоги жизни, много лет спустя, Виктор Алексеевич рассказывал:

– Странно: угрызений я никогда не чувствовал. Когда душу свою открыл старцу духовнику, много спустя... даже и тогда не чувствовал. Я всегда любил пушкинское – «Когда для смертного умолкнет шумный день...», а теперь читаю, как молитву. Так вот, всегда «воспоминание безмолвно предо мной свой длинный развивает свиток». Но и теперь, перед последними шагами из «плена жизни», не чувствую «змеи сердечной угрызенья» за безумный акт, когда любовь и жалость излились в иступление, в преступление. Она простила, искупила все. Мой ангел шепчет мне «о тайне вечности», но – ни «меча», ни «мщенья».

Виктор Алексеевич не говорил, как приняла то утро Дарья Ивановна. В «Записке к ближним» записано об этом так:

«Господи, прости мне грех мой. Я тогда хотела бежать на колокольню и скинуться. Матушка Виринея меня остановила, повела, сказала: «Читай Псалтырь». Подошла я к матушке, и сделалось мне страшно, что не допустит к гробику. Страшась взглянуть на лик усопшей, стала я читать по ней Псалтырик и увидала, что она лежит с улыбкой. И припала к ней, и стало мне легко, будто она простила».

«Было мне указание... – рассказывала она Виктору Алексеевичу. – Матушка Виринея, вратарница, слыла за прозорливую. Еще в первый день, как вступила я в обитель, поглядела мне в лицо и говорит: «А ты, ласточка-девонька, не улети от нас, глазки у тебя за стенку смотри». А я тогда все думала о ком-то, глупая. И вот, в то утро, после похорон матушки, когда

связала в узелок благословение ее и яичко розовое с «Воскресением Христовым», ваше, и троичкий сундучок мой, и Псалтырик отказанный, и платьишко кубовое, в чем ночью тогда была, как вы меня повстречали... и пошла, в страхе, к святым воротам, как с вами уговорено было, и боюсь, ну-ка обманете вы меня, не будете ждать на лихаче. Ударило б, к воротам подхожу, а матушка Вириная уже столик выставила. Спрашивает: «Куда, ласточка-девонька, крылышки востришь так рано?» Сказала, как вы велели: «Заказец отнести, матушка, шитьецо мое». А она, будто ей открылось, и говорит: «А дорогу-то не забудешь к нам?» А вы и подхватили меня в пролетку на ее глазах. Как сейчас вижу: крестится она, перепугалась. А ваш лихач сказал: «Эх, божья старушка, проморгала птичку!»

Новая жизнь открылась бурным счастьем, «безумством дней»: катаньями, цветами, конфетами, примерками у портних и белошвеек, у шляпниц, у башмачников, завтраками в «Большом Московском», ужинами в «Салон-дэ-Варьете», поездками на «Воробьевку», – к Крынкину, в ресторан, в пассажи... Голова у Дашеньки кружилась, но осветляющие глаза ее даже в ярчайшие минуты омрачались тоской и страхом. Виктор Алексеевич «купался в счастье», приходил в восторг, даже в священный трепет, от ее «неземной» детской прелести, от восхищений шляпниц и модисток, от удивления башмачников – «на такую ножку трудно-с и подобрать... подъем, глядите-с!» – от шелковистых кудерьков, каштановых, от голоса, грудного, с серебром, от глаз лучистых. Он сажал «богиню» на бархатное кресло, называл нежно – «Дара», «Даренок мой», садился у ее ножек, целовал оборку платья, молил «осиять» его, называть его «ты» и «милый», – но она не смела. Она стыдилась, прятала от него глаза, робела, складывала на груди ладошки, как в ослепительное утро, и чуть касалась губами его волос, поглаживала робко, как маленькие дети – «чужого дядю». Ей казалось, что она видит сон, и вот – проснется.

Через месяц она устала от новизны и попросила позволить ей работать, привести все в порядок, ходить к всенощной, заказать заупокойную по матушке. Он спохватился, что совсем об этом не подумал, упал перед ней на колени и умолял простить его, безумца, ослепленного любовью, уверял, что она несравненная, что он только теперь почувствовал в ней лик бессмертный. Эти приливы нежности и страсти, слова – «богиня», «неземная», даже – «пречистая», бросали ее в ужас. Она закрывала уши, шептала, что это грех, ужасный, неотмолимый, что ей страшно, и принималась плакать. После таких «припадков» она неслышно вставала ночью и в темноте молилась: не было у нее лампадки.

Она не спрашивала его, любит ли он ее, и он удивлялся, что она не спрашивает его, женится ли на ней и кто же теперь она. Растрогало его, когда она случайно высказала, что самое для нее большое горе, что она не смеет пойти на могилку матушки Агнии, не смеет поднять глаза на матушку Виринаю-прозорливую, переступить порог святой обители... что часто видит в снах матушку Агнию, всегда в старенькой кофте, всегда печальную. Он почувствовал ее боль и умолял сейчас же поехать на могилку, украсить могилку розами и отслужить самую торжественную панихиду. Она отказалась в ужасе: «Матушка вратарница увидит... матушка Вириная-прозорливая!..»

Как-то ночью он услышал, что она горько плачет, детскими всхлипами. Он зажег свечку и увидел ее: она сидела в углу на стуле, закрыв лицо. Он стал утешать ее, спрашивать, что случилось. Прильнув к нему, она поведала, что ей страшно, что Господь не простит ее, что она грешница из грешниц, «хуже язычницы», что у них даже и лампадочка не горит, а она боится без лампадки, и Матушка-Казанская, матушкино благословение, «во тьме висит». «Детское» ее горе умилило его до жалости, пронзило ему сердце. Он спросил, почему же не заведет лампадку, – она все может, она же здесь полная хозяйка, «истинная его жена», пусть завтра же купит все – «что там у вас полагается»: всякие образа-лампадки, и это ему приятно – он в детстве тоже любил лампадки. Почему же она молчала? Она, детски прильнув к нему, поведала ему шепотом, как тайну, что боялась его спросить, что она не знает, чего ей можно... и все боится, что он «отошлет» ее. Эта кротость, беспомощность пронзили ему сердце. Он

посадил ее к себе на колени, как ребенка, отер ей слезы сбившимися ее кудряшками и спросил: неужели она чувствует себя несчастной. Она, пряча глаза в теплом плече его, ответила, не сразу, что она счастлива и очень его любит, только их счастье – темное, что она не смеет смотреть на свет Божий, ей очень стыдно, и дворник-старик сегодня назвал ее – «мадамой». Он взорвался, пообещал распечь дурака, но она соскользнула с его колен, упала перед ним и стала молить, чтобы не сердился на дворника, она и без того несчастна, и ее не простит Господь... и лучше уж ей уйти, лучше пусть отвезет ее в какую-нибудь дальнюю обитель, и она будет вечной его молитвенницей.

Все плача, она рассказала, как недавно, когда ходила на Тверскую за ленточкой, признала ее ихняя монахиня-сборщица, матушка Раиса, обошлась ласково, ничего, поблагодарила за жертвенную копеечку – она ей целый пятак дала, ничего? – и очень ее жалела, и все ее жалеют, что «живет незаконно, в блюде»... а вчера попался ей на Малой Бронной прежний ее хозяин Канителев и изругал... таким ужасным словом назвал, выговорить нельзя. Виктор Алексеевич гладил ее кудряшки, шелковую густую косу, всегда заплетаемую на ночь, и повторял, вкладывая в слова всю нежность: «Бедная моя... глупенькая моя, Даринька». Называл ее – «дареная моя, дар мой», приводил ей все доводы, что нет ничего греховного, и если все разобрать, то тут, может быть, «рука ведущая», – впервые тогда сказал такое слово, таившееся в нем со «встречи», – что, если бы не встретила она, не осияла его душу, он погиб бы. И если вдуматься – матушка Агния сама привела ее к нему на Пасхе... и даже про их поцелуй сказала – «что она сказала, помнишь?» – что он впервые почувствовал в монастыре святое... что все там выше его и чище... это через нее он делается лучше, самое она святое, и такой он больше и не найдет, и нет такой, такой чистоты, ребенка такой пречистой!

– Говорил ей, себя не помня... – рассказывал Виктор Алексеевич, вспоминая «ночь откровения», второго «откровения», – всю жизнь свою рассказал ей, с детства, как стал мыслителем и вольнодумцем, как женился, как разбилась, сторела жизнь... все рассказал, до встречи на бульваре. Мудрая, не нашей мудростью, все поняла она. Сказал, что это матушка Агния провидела, наказывала ей бежать ко мне, если что с ней случится. И вот, пришла она в то утро... и осталась. Не грех тут, а нужно так, для *чего-то* нужно.

Она внимала ему, в слезах, но это были радостные слезы, «сияние сквозь слезы». В ее «Записке» об этом «откровении» так записано:

«Сразу я успокоилась, и стало мне легко, и я вся предалась ему. Я поняла, что это Господь велит мне не покидать его, больная у него душа, жаждущая Духа. Все я ему тогда сказала, все он хотел дознать, какая я».

Они проговорили до солнца, до первых птичек.

– Странно, в голову мне не приходило раньше узнать, – рассказывал Виктор Алексеевич, – как будто я боялся правды, темного происхождения ее. Я знал о какой-то ее тетке, о ее сиротстве – чего докапываться. Было мне странно, откуда в ней такое проникновенное, стыдливое, кроткое, тонкое духовности. Мещанка, цеховая, золотошвейка – по паспорту. Сложнее оказалось. Мать ее, сирота, «духовного звания», очень молодая, служила экономкой у графа... холостого... – род старый, вымирающий. Ну, понятно... Граф был игрок, – об этом рассказывала ей тетка, – и застрелился, когда ей было два года. Мать выгнали наследники, с ребенком. Жили в подвале, в прачешной мать простудилась на реке, на портомойне, и умерла в горячке. Малютку приютила тетка, духовного тоже звания, по монастырям водила, учила грамоте, померла недавно. Вот она чья, откуда... перекрест кровей. Говорили, что из предков графа, из бояр, кто-то прославлен Церковью. Об этом она страшилась говорить. Я знал, и она знала. Но мы не говорили о Святителе – она страшилась.

Они в то утро «повенчались перед Небом». Виктор Алексеевич, с кипящим сердцем, так и говорил: «с кипящим сердцем», подошел к открытому окну, откуда было видно, как подымалось солнце, и, обняв ее, сказал растроганно: «Помни, ты – моя жена, до смерти...»

Это был миг, светлейший, – их любви начальной.

С этого дня Даринька стала привыкать, ручнеть. С этого дня она называла его – «милый», но «ты» ее пугало. Перед Казанской, в спальне, затеплилась неугасимая лампадка. В комнатах висели образа, разысканные в сундуках, старинные. Она все спрашивалась, можно ли повесить, купить лампадку, можно ли пойти к всенощной. Он говорил ей, с укоризной: «Дара, как же тебе не стыдно! тебе *все* можно, ты – хозяйка, моя жена». Она вздыхала. Целый день сновала она в доме, по хозяйству, ходила за покупками, стряпала, стирала даже. Он предлагал ей нанять прислугу, говорил, что средств у них достаточно, лучше пусть читает, развивается, ручки ее дороже всяких денег. Она сказала, что лучше без прислуги, она к прислуге не привыкнет, и... ей стыдно. Что стыдно? Она сложила на груди ладошки и поглядела осиявшим взглядом. Он подошел к ней и нежно обнял. Она шепнула: «Лучше... быть одним». Он радовался, что она ручнеет: «ты» еще не говорит, но уже шепчет. Так приучаются петь птицы в клетке, щебечут робко. В квартире все было прибрано, уютно, чисто, завелись цветы. Он удивился, как мало она тратит, как хорошо она готовит, лучше ресторана. И вот, однажды, возвратясь со службы, дал ей какую-то тетрадку и велел хранить. Она спросила, что это за тетрадка. Это был вклад на ее имя в банке— десять тысяч. Она взглянула на него молящим взглядом, глаза наполнились слезами. Зачем ей деньги? Он сказал – мало ли, случиться может... с матушкой Агнией случилось. Она перекрестилась, прошептала: «Господи, спаси...» – и отдала ему тетрадку. Он сунул ей тетрадку за кофточку, где крестик, якорек и сердце. Она заплакала: «Не надо... страшно». Сама вскопала в саду клумбы, купила летников и посадила георгины, петунии, горошек, резеду и астры – цветы обитателей. Каждый вечер он слышал шорохи поливки, легкие шажки, гремь жести-лейки. Курил и думал – благодарил *кого-то*: «Как хорошо... чудесно... Дара... *дар?*..»

Как-то, в конце июля, сидели они в ночном саду, вдыхали сладкий аромат петуний. Звезды бороздили небо. Они следили – «вот еще, еще... упала!» Он сказал на звезды: «Когда-то искал я, там...» Она спросила: «Что искал, кого?.. Бога, да?..» Он не ответил. Она опять спросила, робко: «Что же, нашел?..» Он притянул ее к себе, нашел ее дыхание и поцелуями шептал ей: «Нашел... тебя, пресветлую... в ту ночь... когда искал я Бога... и – *дар* нашел, Его».

В эту ночь плакала она во сне: пришла к ней матушка Агния, грустная такая, в затрапезной кофте, долго смотрела на нее, болезно... жалела так, глазами... «положила ручку, вот сюда, на чрево... и ушла». Он разбудил ее и успокоил. Ушел на службу. Весь день проплакала она. О чем – не знала. Когда он воротился и спросил, заметив, что ее глаза напухли, – «Ты плакала?» – она сказала: «Да, мне было очень скучно».

– Много раз случалось подобное, и я уверился в ее примете, – рассказывал Виктор Алексеевич. – Сколько несчастий было, и мы знали, когда несчастье постучится. Так и в этот раз: несчастье постучалось, неожиданное. Даринька его ждала, а я не верил.

В начале сентября Даринька снимала парусину на террасе. Напевала тропарь: «Рождество Твое, Богородице Дево, радость возвести всей вселенной...» Был чудесный свежий осенний день. На клумбах почернели георгины, но астры еще сияли. Вдруг осы, из потревоженного гнезда, должно быть, – они под конец лета надоедали им, – испугали ее зудливым гулом, стул качнулся, и она упала за террасу, «чуть живот ушибла», лейкой. Вечером она почувствовала боли, но таилась. Виктор Алексеевич спросил, в тревоге: «Что с тобой?» – «Сегодня я упала, что-то мне больно, вот тут...» И показала на живот, вздохнула. Лицо ее осунулось, глаза погасли. Виктор Алексеевич взял ее на руки и тут увидел, на паркете... – ахнул.

Только к ноябрю она оправилась, опасность миновала. Доктор Хандриков и начинавший в те дни, впоследствии известный Снегирев сказали, что после такого «казуса» детей – увы! – не будет. Даринька уже переходила на диван, сидела в креслах. Как-то Виктор Алексеевич взял ее руку, заглянул в глаза. Она шепнула: «Не разлюбишь?..» – и оробела: «Не разлюбите... такую?» Он проглотил ком в горле: «Что ты... Дара!..» Две слезы повисли на ее ресницах –

и покатались по щекам, за шею. Прозрачное ее лицо застыло в скорби. Он гладил ее руку и молчал.

– И тут случилось странное. Бывает это, совпадение в мыслях, с ней у нас бывало часто... – рассказывал Виктор Алексеевич. – Я молчал, но где-то, в сокровенной глубине, не мысль... а дуновенье мысли: «За что?!» При всем моем душевном оголении, опустошенности душевной, я вопрошал *кого-то*: «За что?!» С негодованьем, протестуя. Она таила от меня *свое*, беременность... ей было стыдно... И вот, скользнуло «дуновенье», передалось, и я услышал глубокий вздох и шелест детских губ, в пленочках, сухих, бескровных. Она ответила на мой вопрос, несказанный:

«За грех».

Виктор Алексеевич впервые тогда поверил – не поверил, но признал возможным: «за грех».

VI. Очарование

Болезнь Дариньки оставила в душе Виктора Алексеевича глубокий след. Он не считал себя склонным к «мистике», к проникновению в лик вещей, и в роду их не замечалось подобной склонности. Были религиозны в меру и по обычаю, а дед хоть и перешел из лютеран в православие, но сделал это по житейским соображениям, из-за каприза тестя, богатого помещика, не желавшего отдавать дочь за «немца чухонской веры». Сам Виктор Алексеевич считал себя неспособным к богомыслию и созерцанию бездн духовных, отмахнулся от Гегеля и Канта и отдался мышлению «здравому» и точному, так сказать – «механическому», что соответствовало как раз его инженерному призванию.

И вот, во время болезни Дариньки произошло такое, чего никак нельзя было объяснить точным и «здравым» мышлением.

Что болезнь Дариньки была как бы предуказана знамением во сне – «видением матушки Агнии», это никак в нем не умещалось, и он объяснял это «знамение» естественными причинами: в организме Дариньки случилось *что-то* еще до сна, и это *что-то*, при ее слишком нервной организации, неясными ощущениями уже грозившей боли и могло вызвать видение матушки Агнии, «положившей с грустью ручку свою на чрево», в котором что-то уже случилось. Он сказал докторам про сон, чтобы осветить им картину заболевания, дал объяснение «видению», и они согласились с ним. Узнав, как больная проводила время до своего падения с террасы, и принимая в соображение, что никаких видимых следов ушиба об лейку не обнаружено, они приходили к выводу, что падение могло бы обойтись и без последствий, особенно таких молниеносных, если бы не случилось *чего-то* раньше; а это *что-то* как раз и было: за два дня перед тем Даринька снимала в саду антоновку, прыгала, как ребенок, карабкалась даже на деревья – что очень важно! – и не раз тянулась – что чрезвычайно важно! – сбивая яблоки довольно тяжелой палкой – что также чрезвычайно важно. Доктор Хандриков, уже немолодой, похожий на Достоевского, – его отец знал отца Достоевского по Мариинской больнице, – при этом заметил, что полной истины мы не знаем, а если больная верующая, так это может только помочь в болезни, – вера горами двигает. С этим шутливо согласился и молодой акушер Снегирев и ободряюще сказал Дариньке, лежавшей при них с закрытыми глазами: «А вы, милая сновидица, помогайте нам, старайтесь какой-нибудь поприятнее сон увидеть... например, как ваша милейшая старушка поставила вас скоренько на ножки». На эту шутку Даринька не ответила и прикрыла лицо руками – ей было стыдно. После утомительной работы акушер с удовольствием выпил водки и объявил, что при таком идеальном сложении и таком сильном сердце можно вполне надеяться, что все благополучно обойдется.

– Я старался себя уверить, – рассказывал Виктор Алексеевич, – что этот сон мог повлиять на Дариньку, ослабить ее борьбу с болезнью, и проклинал эту каркалу, матушку Агнию, с ее затрапезной кофтой и грустным взглядом. От этого ее взгляда Даринька и почувствовала себя как бы обреченной. Убеждал себя, а во мне нарастало что-то пугающее и мрачное. И чем разумней, казалось мне, разбивал я родившуюся во мне тревогу, она укоренялась крепче.

И эта тревога оправдалась. Две недели упорно держалась лихорадка, доктора ездили каждый день и становились день ото дня тревожней: температура показывала с упорным постоянством: 37 и 7 – утром, 38 и 2 – вечером. Даринька слабела, отказывалась принимать микстуру и пилюльки – «тошно!» – перестала пить миндальное молоко и строго предписанное – «через четверть часа по глотку шампанского». И вдруг, вспомнив что-то, радостно попросила дать ей святой водицы. Виктор Алексеевич, чтобы доставить ей удовольствие, погнал дворника Карпа в ближнюю церковь – «взять на целковый, что ли... святой водицы». Дворнику воды не дали, а пришла курносенькая говорливая старушка, сама просвирня, и благочестиво вручила самому барину запечатанную сургучом бутылочку со святой водой, «с крещенской самой...

чистая, как слеза». С радости, Виктор Алексеевич дал ей еще целковый, отмахнулся на какие-то ее советы – довериться, спрыснуть болящую с уголька и отслужить молебен Гурию, Самону и Авиву, насилиу выпроводил, – старушка все порывалась что-то договорить больной, и был несказанно счастлив, когда милая Даринька выпила с наслаждением почти чашку, и глаза ее засветились счастьем.

В тот же вечер, осмотрев больную, доктора вышли в залу с особенно строгим видом, поговорили между собой по-латыни, – Виктор Алексеевич понял, что положение серьезно, грозит воспаление брюшины, – и сообщили ему уклончиво, что у больной начинает определяться родильная горячка, принявшая «литическую» форму, – он этого не понял и попросил разъяснений, – что, конечно, молодой организм может выдержать, если не случится «непредвиденных осложнений», а пока надо аккуратно держать компрессы, следить за пульсом, и они сейчас же пришлют опытную сиделку-акушерку: больную нельзя оставлять ни на минуту, так как может случиться кризис.

Виктор Алексеевич особенно остро принял изо всего одно только слово – *кризис*, показавшееся ему «мохнато-черным и злым, с лапами, как паук». Взятая из богадельни старушка для ухода самовольно ушла к всенощной. Виктор Алексеевич, в оцепенении и тоске, сидел у постели Дариньки, прислушивался к ее дыханию, казавшемуся тревожным, и внутренними глазами видел, как этот ужасный *кризис*, с горбатыми черными лапами, возится где-то тут, в темном углу, за ширмой, куда не доходит отсвет голубоватого ночника. Даринька начинала бредить, передыхать, хрипло вышептывала слова, что-то невнятное, – может быть, слова молитвы. Просила не открывать ей ноги, не подымать рубашку, вскрикивала: «Не мучайте... закройте одеяло... как не стыдно!..» Говорила про какую-то великомученицу Анастасию-Узорешительницу: «Главка ее у нас, в ковчежце... помолитесь, миленькие...» Виктор Алексеевич испугался, когда Даринька вдруг стала подниматься, что было строго запрещено, хотел уложить ее, но она металась в его руках и повторяла: «Нельзя... надо... скорей вставать, велела *сама*... Пресветлая». Он уложил ее, поправил на лобике укушенный компрессии и поцеловал в отметанные жаром губы. Она взглянула на него, «разумными глазами», и лихорадочно-быстро стала говорить, вполне сознательно: «Так нельзя, в темноте, без лампадочки... затепли, миленький... поставь поближе ко мне на столик, благословение мое... Казанскую-Матушку». Обрадованный, что она говорит разумно, что, должно быть, ей стало лучше, он перенес и устроил на столике у ее постели образ Богородицы Казанской, благословение матушки Агнии, долго искал масло и фитильки, оправил, как мог, лампадку, зажег и пристроил ее в коробку с ватой, чтобы она стояла. Даринька следила за ним и говорила: «Как ты хорошо умеешь... только стыдно мне, тревожу тебя». Потом перекрестилась и сказала, совсем разумно: «Я завтра встану, мне хорошо, я совсем здорова». И успокоилась, затихла. Он послушал ее дыхание, и ему показалось, что она дышит ровно. И тут *что-то* сказала в нем, что *кризис* не посмеет ее отнять, что тогда... для чего же тогда *все* было?!

Стал приводить все доводы, что *это* – невозможно. Перебрал в памяти все, как они встретились, как знаменательно все случилось, и все ему говорило, что *это* – невозможно: для чего же тогда *все* было?!

Приехала акушерка, развязная, костлявая, стриженная и неприятная, – «солдат в юбке», – нестерпимо навоняла пахитоской, напрыскала везде карболкой и велела убрать со столика «все это сооружение»: «Зацепим – и больную еще спалим!» Виктор Алексеевич нерешительно отодвинул столик. Акушерка швырнула пахитоску на пол, придавила ногой, хлопнула себя по бокам, засучила пестрые рукава, откинула одеяло с Дариньки – Виктор Алексеевич смутился и попросил: «Поосторожней, пожалуйста... можно испугать больную!» – не обратила никакого внимания на его слова, разбинтовала у Дариньки живот и принялась что-то быстро проделывать над ним, приказав Виктору Алексеевичу светить пониже. Даринька, должно быть, испугалась, смотрела безумными глазами и шептала, тоненько, «как комарик»: «Ой, потише...» – но

акушерка не обратила внимания, пробасила отрывисто: «Терпите, милая, надо же мне исследовать!..» – и, должно быть, сделала очень больно: Даринька охнула, а Виктор Алексеевич, потеряв голову, схватил акушерку и отшвырнул. Она нимало не смутилась и деловито спросила, где у них можно вымыть руки. Потом привела все в порядок, пощупала пульс, поставила градусник и пробасила: «Молодцом, непременно шампанского с сахаром!»

Градусник показал невероятное: 40 и 3! Виктор Алексеевич схватился за голову, чувствуя наступающий «кризис». Но акушерка была невозмутима: налила шампанского в бокальчик и бросила кусок сахара: «Пейте, милая». Даринька глядела «совсем безумно», стиснула крепко зубки и, как ни возилась акушерка, не позволила влить шампанского. Виктор Алексеевич нагнулся и ласково пошептал: «Хочешь святой водицы?» Она сказала ему глазами, и он дал ей святой водицы. Она выпила с наслаждением, закрыла глаза и задремала. Акушерка настаивала: «Шампанского с сахаром!» Но как ни шептал Виктор Алексеевич про водицу, в надежде, что она снова откроет рот и они вольют ей шампанского с сахаром, которое «незаменимо в такие серьезные минуты», она отзывалась, и акушерка впрыснула камфору. Даринька стала бредить: «Подымают... велят вставить... недостойна я... Господи...» Виктор Алексеевич схватился за голову и помчался за Хандриковым, хотя был уже третий час ночи. Акушерка обидчиво сказала: «Что же вы мне не доверяете, я же тут!» – и когда Виктор Алексеевич уехал, она какой-то пластинкой разжала у больной рот и влила ей бокал шампанского с сахаром. Потом выпила и сама и закурила от лампадки. Обо всем этом она лихо рассказывала после, как она «подняла» больную.

Виктор Алексеевич привез Хандрикова, с постели поднял. Доктор пощупал пульс, смерил температуру, пожал плечами: температура стремительно упала: 38 и 2. Велел сейчас же к ногам горячие бутылки и повторить камфору. Даринька от бутылок вздрогнула, открыла глаза и – улыбнулась. Хандриков щупал пульс. Лицо его стало напряженным, глаза насторожились, и он не сказал, а хрипнул: «Что же это она с нами выделяет... ничего не понимаю... возьмите-ка?... – торопливо сказал он акушерке, словно поймал что-то необыкновенно интересное, – совершенно нормальный... хорошего наполнения! на-ка, поставьте еще, померяем?...» Акушерка пощупала и сказала уверенно: «Шампанское с сахаром». Градусник показал – 36 и 8. «Кризиса» не случилось: температура дальше не падала и не повышалась. Даринька хорошо уснула. Виктор Алексеевич зашел за ширму, быстро перекрестился и беззвучно затрясся в руки.

Уезжая, уже на рассвете, Хандриков говорил: «Тридцать лет практикую, но *такого* у меня еще ни разу не случалось». Уже в шубе, он вернулся к больной, безмятежно спавшей, поглядел на нее внимательно, «восторженно, как мастер любит свое искусство», – рассказывал Виктор Алексеевич, – даже нагнулся к ней, словно хотел поцеловать ее в разметавшиеся на лбу кудерьки, и тихо, растроганно сказал стоявшему рядом Виктору Алексеевичу: «Удивительная она у вас... какая-то... особенно очаровательная, детская вся... чудесный, святой ребенок!» Виктор Алексеевич не мог ничего ответить, пожал ему крепко руку и проглотил подступившее к горлу – «благодарю». В передней, все еще в возбуждении, Хандриков говорил, принимая от акушерки бокал шампанского: «Присутствовали при чуде? определенно начинавшийся перитонит... *растаял!* запишем в анналы, но, конечно, не объясним». Акушерка уверенно сказала: «Шампанское с сахаром!» Он отмахнулся и потрепал ее по плечу: «Знаю ваше «шампанское с сахаром!» – сами отлично понимаете, Надежда Владимировна... раз уже начиналось тление, никакие «шампанские» не спасут... а вы можете констатировать собственным вашим носом, что характерного *тления почему-то* не стало слышно... и я ничего тут не понимаю».

Случилось то, чего страстно хотел, о чем *молился* Виктор Алексеевич и чего «не могло не быть».

– Да, я молился без слов, без мысли, – рассказывал он, – молился душой моей. Кому? В страшные те часы все обратилось для меня в Единосущее-Все. Когда тот черный мохнатый

«кризис» подкрадывался на горбатых лапах, чтобы отнять у меня ее и с ней отнять все, что внял я через нее, я *знал*, что ему не совладать с... *планом*. Веянием каким-то я чувствовал, что я уже нахожусь в определенившемся *плане* и все совершается по начертанным чертежам, *путям*. Я знал, что она необычайная, *назначенная*. И ей умереть *нельзя*. Если бы она покинула меня тогда, когда я еще был *темным*, после всего, что случилось с нами, это было бы таким бессмысленным, таким бездарным, таким абсурдом, что... оставалось бы только – все это видимое взорвать и самому стереться. Абсурд, обращающий в пыль даже наши ребяческие представления о «грошовом смысле», о нашей «измеряемой закономерности». Я чувствовал, что не случайно явилась она мне «на перепутье», что она в моей жизни – как *идея* в чудесном произведении искусства, что она брошена в мир, в меня, и «произведение будет завершено».

Поднялось радостное утро – утро очарования. Было начало октября, но в ночь выпало столько снега, как бывает только глухой зимой. Дариньке было с постели видно, как сирень никла под снегом, как розовые и голубые астры сияли из-под сугроба розовыми и голубыми звездами, снеговыми гирляндами свисали ветви берез над садом, а листья винограда на террасе, пронизанные солнцем, ало сквозили из-под снега. И на этой живой игре – солнца, цветов и снега – нежно дышали розы, на столике, привезенные докторами, как победа. И на всю эту прелесть жизни радостно-детски смотрели глаза больной.

– Она, положительно, всех очаровала, – рассказывал Виктор Алексеевич, – доктора просидели у нас тогда до вечера, празднично-возбужденные, может быть, чуть влюбленные, как с шампанского. И над всем веяло светлым очарованием. Я был душевно пьян, что и говорить. Но она, воскресшая чудесно, была не прежняя, а какая-то... *внеземная*, просветленная, на все взиравшая, как на чудо. Бывает это после тяжелой болезни. В ней это было особенно как-то ярко.

В «Записке к ближним» Дарья Ивановна записала о «чуде» так: «Мне страшно вспоминать о благодати Божией. Я готовилась *отойти*, но страшилась, что он останется и ему будет больно. Неужели Владычица снизошла к недостойной моей молитве! Я видела мохнатую собаку, как лезла лапами на постель, и такой дух от нее тяжелый, и стало душно, и я обмерла. И вот, Пресветлая, как Царица, подняла меня за главу, а голоса сказали: «Восстань и ходи». Я проснулась и увидела свет, много снега, и по нем цветы, и солнышко так светило, а на столике – палевые розы, чайные, такое очарование. Это доктора мне привезли в знак радости. И все было новое в тот день».

Оба они не смели верить, что было чудо. И оба верили. Даринька долго не говорила о «чуде» Виктору Алексеевичу. Только после переезда в Мценск, после случившегося с ними, когда и он был на краю гибели, открыла она тайну, чтобы укрепить его. А в тот день, снежный, о «чуде» никто не знал, доктора говорили об исключительной натуре, о случае редчайшем, и Даринька не тайной – чудом влекла к себе, а очаровательной детскостью, «небесными» глазами: «светилась тайной очарования». Даже акушерка, самоуверенная и резкая, много было таких в те дни, под кличками «синий чулок» и «нигилистка», – чувствовала себя, как откровенничала она с шампанского, «немножко щенячьи-нежной» и называла Дариньку – «чудесная-милая» и «тихий светик». И правда: Даринька светилась внутренним каким-то светом, лежала «снежная-восковая, как бы из редкостного тончайшего фарфора, словно лампада светилась в ней». Серые с голубинкой глаза ее стали огромными от болезни, не озаряли, а теплились, взирали изумленно и вопрошающе – радовались *чему-то*, что теперь было в ней.

– Она была *новая* для меня, *явленная*... иконная! – рассказывал восторженно Виктор Алексеевич. – Уже тогда показалось мне, что не от мира этого она. Часто я спрашивал себя – кто она? И не мог ответить. Святая?.. Были и у нее грехи, и один, по ее словам, тягчайший. Она таила его от всех, томилась им до последнего часа жизни. «Удивительная она, – сказал тогда доктор Хандриков, – чудесный святой ребенок». Нет, она была очень мудрая. Только испытав

все, я как будто понял, откуда в ней такое «неземное очарование». В ней была чудесная капля *Света*, зернышко драгоценное, *оттуда*, от Неба, из Лона Господа.

Отблеск *Света*, неведомыми нам путями проникающий в прах земной... какой-то прорыв случайный... «случайный» – для нас, конечно... Этот редчайший отсвет бывает в людях: в лицах, в глазах. Бывает чрезвычайно редко. В женских глазах, в улыбке. У мужчин – не знаю. В улыбке матери, когда она бездумно грезит над младенцем. Недаром великие художники Мадонн писали – неуловимое ловили. Вдруг блеснет тот отсвет в искусстве, в музыке. Нездешнее *оттуда*. В природе – знаем по житиям – когда благословляет сердце «и в поле каждую былинку, и в небе каждую звезду». В поэзии. У Пушкина... до осязаемости ярко. В русских женских лицах ловил я этот отсвет. Рафаэли творили своих Мадонн, но вспомните... чувствуется плоть, с «любви» писали. В милых русских *лицах* улавливал я эти проблески *святого* – из той Кошницы, из Несказуемого пролились они каким-то чудом в великие просторы наши и вкрапились. Эти золотишки Божества в глаза упали и остались. Кротость, неизъяснимый свет, очарование – святая ласка, чистота и благодать. Через страдание дается?.. Столько страданий было, и вот отлилось в эти золотишки, в Божий Свет. *Зовут*, напоминают, манят *тайной*. Вот это и светилось в ней – вечное, из той Кошницы.

К ноябрю Даринька окрепла. Почувствованное всеми в снежный день очарование ее осталось, но в глазах ее простерлось грустью сказанное ею: «Темное наше счастье». Доктора сказали: детей не будет. Виктор Алексеевич видел в ее глазах оставшееся навсегда: «За грех».

VII. Отпущение

К Рождеству Даринька вполне окрепла и очень похорошела, как хорошеют после родов здоровые молодые женщины. В радости материнства судьба ей отказала, и бурно отказала, с угрозой жизни, и все же – «Даринька расцвела, раскрылась во всей полноте душевной», – рассказывал Виктор Алексеевич: «Нетронутая почва, вчерашняя монастырка... она вся светилась изяществом прирожденным, легким, – не странно ли?..»

Вскоре после того октябрьского утра, когда цветы под снегом праздновали ее выздоровление, Виктор Алексеевич вошел в спальню, радостно возбужденный, как бы желая чем-то ее обрадовать. Она лежала в нарядной, тончайшего батиста, кофточке, еще во время ее болезни купленной им в английском магазине на Кузнецком. Тогда она только устало поглядела и сказала: «*Потом...* не надо», а в этот день сама попросила ходившую за ней старушку дать ей новую кофточку. После она призналась, что думала тогда, когда он купил ей кофточку, о «последнем уборе», как она будет лежать нарядной и ему будет легче видеть ее *такой*. Виктор Алексеевич видел еще от двери, как она, оттянув рукавчик, смотрела через батист на свет, как делают это дети. Он шуточно спросил, что она закрывается от света. Она сказала, обтягивая батистом губы, сквозившие сквозь батист: «Совсем прозрачный... должно быть, очень дорого стоит... ну, по правде, сколько?..» Раньше он все отшучивался: «Не все ли равно, двугривенный!» Но теперь сказал правду, желая ее обрадовать любовью: пустяки, полсотни. Она всплеснула ладошами в испуге: «Господи... грех такой! теперь мне страшно ее надеть».

– И это не притворство было, вся жизнь ее это подтвердила, – рассказывал Виктор Алексеевич, – ей было перед жизнью стыдно за довольство, в котором она жила, за «такое ужасное богатство...»

Он взял ее руку, пошарил в жилеточном кармашке и, целуя ей безымянный палец, надел на него обручальное кольцо. И тут она увидела, что и у него такое же. Она глядела в радостно-вопросающей тревоге, а он сказал весело: «Вот мы и повенчались». Она лежала молча, покручивая кольцо на пальце, и он увидел, как глаза ее наполняются слезами. «Нет... – вымолвила она чуть слышно, вздохом, будто сказали это ее слезы, ее ресницы, поднявшиеся к нему от изголовья, дышавшие на груди каштановые косы, – это... нельзя шутить...» – и стала выкручивать кольцо. Он старался ее утешить, что это только пока, домашнее обручение, что он написал *той* решительное письмо и теперь все устроится. Она поцеловала его руку, пощекотала ее ресницами, в молчанье, и повторила, будто сама с собой: «Самовольно нельзя... себя обманывать».

– С этого дня она ни разу не надела кольца, ждала. Всю жизнь пролежало кольцо в шкаптулке... – рассказывал Виктор Алексеевич. – *Этим* она повенчала меня с собой крепче венцов церковных.

Перед Рождеством произошли события. Из Петербурга пришла бумага – явиться на испытание его проекта, новой модели паровоза. Бывший его начальник частно писал ему, что министерство, несомненно, примет его проект, надо ковать железо и перебираться в Питер. Он поделился радостью с Даринькой – «ты принесла мне счастье!» – и они решили, что надо перебраться. Решил, вернее, один Виктор Алексеевич: Дариньке было чего-то страшно, но она об этом промолчала. Другое событие было грустное, но, как многое в жизни, связанное с приятным: далеко в Сибири, на какой-то реке Вии, – письмо шло оттуда два месяца, – застрелился от сердечных неприятностей – писал доверенный – старший брат Виктора Алексеевича, изыскатель-золотопромышленник; там и похоронили, денег наличных не осталось ни копейки, и компаньоны-англичане грозятся забрать все прииски за долги; прииски – золотое дно, «приезжайте сами или пришлите доверенность судиться». Покойный был мот и холостяк, красавец и женолюб, и это вполне возможно, что денег не осталось, но оставался огромный дом на Твер-

ском бульваре, тогда еще не носивший клички – Романовка. Под дом было взято, конечно, в Кредитном Обществе, но владение было миллионное, и наследником оказывался Виктор Алексеевич, если не осталось завещания.

Виктор Алексеевич чувствовал раздвоение: он очень любил брата, и – «что-то захватывало дыхание» при мысли, что теперь жизнь устроится, можно *той* выкинуть тысяч пятьдесят и купить развод, зажить – как хочется, заняться наукой, поехать с Даринькой за границу. Он показал Дариньке портрет брата – «красавец, правда?» – и рассказал *кое-что* из его «историй». Даринька нашла, что они «ужасно похожи», только у Виктора Алексеевича глаза «тоже горячие и глубокие, но мягче». От «историй» она приходила в трепет, вспыхивала стыдом, и в глазах ее пробегало огоньками. Он заметил, как она слушает, и сказал: «О, и ты, сероглазая, кажется, не такая уж бесстрастная!» После болезни она совсем освоилась – «приручилась». Спросила его: «Неужели и ты такой же, как Алеша?» С полной откровенностью он сказал, что это у них – татарское, по материнскому роду, и он женолюб немножко, но она закрыла для него всех женщин: «все женщины в ней соединились». Она слушала зачарованно.

На другой день она попросила Виктора Алексеевича пойти с ней в приходскую церковь, недалеко от них, и отслужить панихиду по новопреставленному рабе... – «нет, теперь уже не новопреставленный он, больше сорока дней прошло...» – по рабе Божиим Алексии: «о нем надо особенно молиться». Виктор Алексеевич охотно согласился и даже опускался на колени, когда опускалась Даринька. Заодно отслужили и по матушке Агнии. Курносенькая просвирня, та самая, что принесла во время Даринькиной болезни святой водицы, Марфа Никитична, – она теперь хаживала к ним, но боялась обеспокоить барина и пила чай с Даринькой на кухне, – подкинула и Виктору Алексеевичу под ножки коврик, и он, растроганный печальными песнопениями и мыслями об Алеше, прибавил ей и от себя полтинник. Даринька расплакалась за панихидой, остро почувствовав утрату матушки Агнии, вспомнив тихую жизнь у нее и страшные похороны – безумство; плакала и от счастья, которое в ней томилось сладко. Уже на выходе просвирня просительно помянула: «А не помолобствуете великомученице Узорешительнице, ноне день памяти ее празднуем?» – и Даринька вспомнила, в испуге, что сегодня как раз 22 декабря, великомученицы Анастасии-Узорешительницы память. Вспомнила – и с ней случилось необычайное: «она стала будто совсем другая, забыла страх», – она до сего боялась даже проходить близко от монастыря, – и взволнованно объявила Виктору Алексеевичу, что надо ехать сейчас в Страстной, отслужить благодарственный молебен перед ковчежцем с главкой великомученицы, – она служила молебен с акафистом по выздоровлении и Богородице, и Узорешительнице, но только в своем приходе, – что «Узорешительница предстательствовала за нее перед Пречистой», что «сердце у нее горит и теперь уж ей все равно, иначе и не найдет покоя». Виктор Алексеевич как-то встревожился, но тут же и согласился, плененный ее молитвенным восторгом, необычайной доселе страстностью, тревожной мольбой ее взгляда, по-новому очарованный. Она была восхитительна под поникшей от инея березой, у сугробов, на похрустывавшем снежку, в зимне-червонном солнце, ожившая Снегурка: в бархатных меховых сапожках, в котиковой атласной шапочке, повязанной воздушно шалью, в бархатной распашной шубке, – пышно-воздушно-легкая, бойкая, необычайная.

Он на нее залюбовался. И вдруг – взгляд ли его поняв – она оглянула себя тревожно и затрясла руками: «Господи, что со мной! на панихиду – и такая!., это же непристойно так...» Он ее успокаивал, любуясь, не понимая, что тут особенного, шубка совсем простая. Она ужасалась на себя, а он любовался ее тревогой, детской растерянностью, голубоватым, со снега, блеском разгоревшихся глаз ее. Она корила себя, какая она стала, ничего на себя не заработает, избаловалась. Все повторяла: «Ах, что бы матушка Агния сказала, если бы видела!» Стала пенять, что он ее так балует – портит, столько роскоши накопил, такие сорочки прорезные... – «кофточка одна, Господи... пятьдесят рублей!., надо с ума сойти... а самого простого, расхожего, что нужно...» Это было так неожиданно для него, так чудесно. И так было это детски

просто и искренно, что в глазах у нее заблестали слезы. Он сказал ей, что теперь купим все, целую Москву купим... «Вон, видишь... – показал он на что-то вдаль, когда они вышли из переулка на Тверской бульвар, – огромный, с куполом, на углу?.. сколько... четыре, пять, чуть ли не шесть этажей... это брата Алеши домина и теперь *наши*, как будто!» Она взглянула – и ужаснулась: этот огромный дом она хорошо знала, помнила, как он строился... – и теперь этот дом... *наши!!* Нет, это сон какой-то... и все, что было, и все, что сейчас, – все сон. Она заглянула в его глаза, в синюю глубину, в которой утонула, и робко сказала: «Милый...» Они остановились наискосок от того углового дома: со стороны Страстного, в облаке снежной пыли, мутно мчался на них рысак. «Постой, проедет...» – сдержал Виктор Алексеевич Дариньку, которая хотела перебежать. Рысак побавил, снежное облачко упало, и, бросая клубами пар, отфыркиваясь влажно, выдвинулся на них огромный вороной конь, с оскаленной удилами мордой. Они полюбовались на рысака, на низкие беговые саночки-игрушку, новенькие, в лачку, на завяянного снежной пылью статного черномазого гусара, в алой фуражке, в венгерке-доломане, расписанного жгутами-кренделями, с калмыжками на штанах, – подмятая шинель мела рукавом по снегу, – невиданное, праздничное пятно. Это был чудесный «игрушечный гусарчик», какими, бывало, любовалась Даринька в игрушечных лавчонках, только живой и самый настоящий. И этот гусарчик крикнул: «Ба, Виктор, ты?!» Виктор Алексеевич радостно удивился, представил Дариньке: «Князь Вагаев, вместе учились в пансионе...» – и гусар отчетливо отдал честь, сняв беговую рукавицу. Они весело поболтали, гусар опять четко приложился, склонившись в сторону Дариньки, окинув черным, как вишня, глазом, и послал рысака к Никитской. «Совсем игрушечный! – сказала Даринька умиленно, – никогда еще не видала настоящих». Виктор Алексеевич объяснил, что это лейб-гусар, питерский, приехал на праздники к дяде, известному богачу-спортсмену, и будет *бежать* на Пресне, у Зоологического сада, на Рождестве, на этом вот рысаке Огарке, хочет побить известного Бирюка – орловца. На Бирюке едет тоже владелец, кирасир, – оба под звездочками в афишке, так как офицерам с вольными ездить запрещено. Даринька ничего не поняла. «После поймешь, – сказал, смеясь, Виктор Алексеевич, – ложу нам обещал прислать, непременно едем, пора тебе свет увидеть». Даринька очень любила лошадей, а этот огромный вороной, которого зовут так смешно – Огарок, особенно ей понравился: все косил на нее плутоватым глазом и выкручивал розовый язык.

День был предпраздничный, сутолочной, яркий, с криками торгашей, с воздушными шарами, с палатками у Страстного, где под елками продавали пряники, крымские яблоки, апельцины и сыпали приговорками, поплясывая на морозе, сбитенщики, с вязками мерзлых калачей. Бешено проносились лихачи, переломившись на передке и гейкая на зевак, как звери; тащили ворохами мороженных поросят, гусей; студенты, с долгими волосами, в пледах, шли шумно, в споре; фабричные, уже вполпьяна, мотались под лошадьми с мешками, – все спешили. Даринька небывало оживилась, будто видела все впервые: пьянела с воздуха после болезни. В таком возбуждении, «на нерве», она быстро прошла под святыми воротами, мимо матушки Виринеи, сидевшей копной у столика с иконкой, – один только нос был виден. Все было снежно в монастыре, завалено, – не узнать. Они прошли направо, к южным дверям собора, в светлую галерею – придел великомученицы Анастасии-Узорешительницы, и Даринька вдруг упала на колени перед сенью в цветных лампадах, перед маленькой, в серебре, гробничкой с главкой великомученицы, склонилась к полу и замерла. Виктор Алексеевич смотрел растерянно, как, в молитвенном исступлении, мелко дрожали ее плечи.

– Я понимал, что это нервное с ней и не надо ее тревожить, – рассказывал он про этот сумбурный день, – что она у предела сил, что теперь она вся в *ином*, вырвавшись страшным напряжением из жизни, ее вбиравшей. Я боялся, что с ней сделается дурно, что она не осилит боли, которая в ней таилась и вот, обострилась нестерпимо. После она призналась, что был один миг, когда хотела она перед стареньким иеромонахом, который служил молебен, перед какими-то нищими старушками и беременными женщинами, тут бывшими, и монахиной

пригробничной, от которой она скрыла лицо вуалькой, покаяться во всеуслышание и молить-молить перед великомученицей, всех молить, валяться у всех в ногах, чтобы простили ей ее «мерзкую жизнь», ее «смертный грех блуда и самовольства».

Но она пересилила крик души: молилась в немом оцепенении. Вышли они неузнанными и пошли за иеромонахом на кладбище, к занесенной могилке матушки Агнии. Виктор Алексеевич поддерживал Дариньку, которая двигалась как во сне. Нет, могилка матушки Агнии была не занесена – расчищена, и даже было усыпано песочком. Даринька бессильно упала на колени и крестилась мелкими крестиками, как с испуга. На дубовом кресте было начертано: «Блажени чистии сердцем, яко тии Бога узрят». А когда иеромонах с двумя перешептывавшимися послушниками запел: «Со святыми упокой», Даринька не могла сдержаться и излилась в рыданиях. Виктор Алексеевич поспешил дать иеромонаху рублевую бумажку, сунул шептавшимся послушникам, что нашлось, и все, наконец, ушли. Даринька терлась лицом об оледеневшую могилку и взывала: «Матушка, прости... ма-тушка!..»

– Матушка Агния, кроткая, «человеческая овечка», ее простила. Сказала ей, через ледяной бугорок сказала, сердцу *откуда-то* сказала, – рассказывал Виктор Алексеевич. – Даринька *услыхала ее душу*, я это видел: она вдруг подняла заплаканное лицо от бугорка, будто ее позвали, сложила, как всегда от большого чувства, руки ладошками на груди и бездумно вглядывалась в полнеба. Я не видел ее лица, только ресницы видел, с каплями слез на них.

Кладбище было маленькое, уютное, в старых липах. Снег сиял ослепительно на солнце, и усыпанные песком дорожки казались розовыми на нем. Эта снежная белизна и тишина утишали все думы, усыпляли. Даринька *отошла*, стряхнула с шубки, утерла глаза платочком и примиренным, усталым голосом, с хрипотцой, сказала, что здесь ей хорошо покоиться и она очень рада, что *навестила*. Ее напряженное лицо, скорбно захваченное большой заботой, обмякло в усталую улыбку. Он увидел глаза, те самые, как в июльский вечер, в келье матушки Агнии, осветляющие, звездистые; не было в них ни боли, ни испуга, ни тревожного вопрошания: они кротко и ласково светили. И он почувствовал, как тогда, что судьба одарила его счастьем, что отныне жизнь его – только в ней. Он взял ее руку и молча поцеловал. Она прошептала вздохом, как бы ища поддержки: «Милый...» – и сжала его руку.

Перед святыми воротами Даринька сдернула с головы кутавшую ее шальку, словно ей стало жарко, и, обернувшись к Виктору Алексеевичу, сказала *новым* каким-то тоном, решительным и легким: «Вот, матушка Виринея удивится!» – и длинные ее серьги-изумруды закачались. Он не успел подумать, как она подбежала к милостынному столику, положила серебреца на блюдо, перекрестилась на образок и, как когда-то белицей, поклонилась в пояс матушке-вратарнице, закутанной от мороза до самых глаз: «Здравствуйте, матушка... не узнаете?..»

– Я не верил своим глазам, – рассказывал Виктор Алексеевич – что случилось с Даринькой, откуда эта легкость, даже бойкость. Подумалось – не болезнь ли... После недавнего еще страха перед монастырем! Мимо ведь проходить боялась, а тут...

Матушка Виринея оттянула свою укутку, пригляделась, и ее мягкий рот искосился в счастливую улыбку: «Ластушка... девонька наша... да тебя и не узнать стало, хорошая какая, богатая... к нам была, не забыла Владычицу. Ну, как, счастлива ли хоть?.. Ну, и хорошо, дай Господи... не забывай обители. Ну, что тут, всяко бывает... иной и в миру спасается, а то и в монастыре кусается. А это супруг твой, маленько припоминаю, душевный глаз. А вы, батюшка, жалеете ее, сиротку. Господь вас обоих и пожалеет, обоих и привееет, как листочки в уюточку». Они поцеловались, как родные, облапила матушка Виринея Дариньку.

Блестя оживленными глазами, от слез и солнца, Даринька, – что с ней случилось! – запыхиваясь, как радостные дети, высказывала свое, рвавшееся к нему, ко всем и всему в этом ярком, чудесном дне: «Ты слышал, что она сказала?.. матушка Виринея прозорливая, дознано сколько раз... добрые глаза, милые глаза у тебя, сказала... Господь нас пожалеет, привееет, как листочков в уюточку!..»

Он любовался ею, светился ею – вдруг ее озарившим счастьем. Он хотел целовать ее – и целовал глазами ее глаза, все ее волосы и жилки, ресницы, губы, которые что-то говорили, легкий парок дыханья и все это пестрое мельканье чудесной площади, отражавшееся в ее глазах. Она это знала, чувствовала, что он ее *так* целует, смеялась ему счастливыми глазами и все говорила, лицо в лицо, засматривая снизу, из-под ресниц, из-под заиндевевших густых бровей, которые так влекли, из-под ласковой шапочки. Девичьей нежной свежестью веяло от нее, от влажных, в блеске, ее зубов – снежным, морозным хрустом. Он видел ее радость – *новое* чудо в ней. Или это от крепкого воздуха-мороза, от пламенного солнца, клонившегося за крыши, за деревья... от крымских яблочков на лотках, от звонкого цоканья по снегу стальных подков, от визга полозьев мерзлых? Он любовался ею, как новым даром, кем-то ему дарованным. Вся другая являлась она ему на этой чудесной площади, ожившая, полная новых откровений. И, как тогда, в душный июльский вечер, под бурным ливнем, почувствовал он восторг и радостное сознание связанности его со *всем*. А она радостно спешила, сжимая его руку, сбивалась, торопилась сказать ему, как ей сейчас легко, будто после причастия, так легко... – и слова у нее путались, не находились. «Мне теперь так легко... все у меня другое теперь... мне не стыдно... понимаешь, *она* простила, я это *слышу*... ты слышишь?.. Господи, как легко!..» Ее сочный, грудной, какой-то глубинный голос, пробудивший в нем сладкое томление при первой еще встрече на бульваре, – «звонкий, живой хрусталь», – теперь, в ее оживленности-восторге, вызывал в нем томительную нежность, светлое опьянение, желанье. Он видел, или ему казалось, что решительно все любят его Даринькой, озаряющими, чудесными глазами, ее бровями, раскинутыми бойко, детскими пухлыми губами, бьющими по щекам сережками. И хотелось, чтобы все эти женщины и девушки, все такие чудесные, с картонками и кулками, остановились и любовались ею и после, дома, рассказывали – «какую прелестную видели мы сегодня!» – и помнили бы всю жизнь.

Все манило ее глаза, все радовало восторженно: оторвавшийся красный шар, пропадавший в дымах лиловых, красные сахарные петушки в палатках, осыпанные бертолеткой Ангелы Рождества, мороженые яблоки, маски в намерзших окнах, пузатые хлопучки, елки, раскинутые ситцы, цветы бумажные, к образам, смешной поросенок – с хвостиком! – выпавший из кулька у дамы; золотые цепочки, брошки – вся пестрота и бойкость радостной суматохи праздника. Им захотелось есть, и они помчались на лихаче в торговые древние Ряды, спустились, скользя, по изъерзанным каменным ступенькам – «в низок, в Сундучный», и с наслаждением, смеясь и обжигаясь, ели пухлые пироги с кашей и с грибами, – она была здесь «только один раз в жизни, давно-давно-о!» – и выпили нашего шампанского – «кислых щей». Он купил ей – так, на глаза попалось, бинокль и веер, заграничные, в перламутре, с тончайшей золотой прокладкой, с красавицами на синих медальонах, – «имейте в виду-с... э-маль-с, заграничная-с, перр-вый сорт-с!» – и она не говорила больше – «зачем такое?!» – не ужасалась, как это дорого, а была детски рада.

Возвращаясь домой с покупками, они опять увидели огромный дом, темневший куполом в дымном небе. И опять – вот, случайность! – на том же месте встретился им «гусарчик» на вороном, в шинели, сразу признал их в сумерках, весело крикнул: «Огарка работаю, с проездки!» – и обещал заехать.

Дома, не снимая шубки, морозная, свежая, как крымское яблочко, она прильнула крепко и прошептала: «Я так счастлива... милый, я так люблю!..» И Виктор Алексеевич, в бурном восторге, понял, что в ней пробудилась женщина.

VIII. Соблазн

Чудесное *обновление* Дариньки – сама называла она это «отпущением» – стало для Виктора Алексеевича утверждением «настоящей жизни». До этого жизнь его с Даринькой была «как бы в воображении», а сама Даринька – будто чудесно-призрачной, как во сне. И вот, после панихиды в монастыре, призрачное пропало, Даринька вдруг открылась живой и прелестной женщиной, и эта женщина спрашивала его: «Что же дальше?» Он слышал это в радости ее, видел в ее порывах, и ему стало ясно, что «началось настоящее, и его надо определить». В тот же вечер, после сумбурного, радостного дня, он решительно объявил, что они скоро обвенчаются. На посланное им еще в ноябре письмо ответа не получалось, и, не откладывая на после праздников, он на другое утро поехал к адвокату по этим делам и поручил ему предложить бывшей госпоже Вейденгаммер... ну, тысяч 15–20, лишь бы она его освободила. В противном случае, обнадеживал адвокат, «можно нажать пружины, и она не получит ни копейки». Виктору Алексеевичу претила вся эта грязь, но адвокат доказал ему, что это не грязь, а борьба за право, ярко изобразил страдания юного существа, отдавшегося под его защиту, и Виктор Алексеевич взволнованно согласился с адвокатом. Заодно поручил другому адвокату выяснение дела о наследстве.

Вернувшись от адвокатов бодрым, словно дело уже устроилось, он застал Дариньку за уборкой к празднику: старушка-богаделка гоняла пыль, а Даринька, вся голубенькая, в кокетливой голубой повязке, стояла на стремянке и обметала перовником полки с книгами. Он снял ее с лесенки и сказал, что теперь дело пущено и все закончится месяца через три. Она расцеловала ему глаза и, восторженно запыхавшись, стала рассказывать, «что тут у нас случилось!..» Незадолго до его прихода – звонок! она сама побежала отпирать – не он ли?.. – «И вдруг, оказывается, – он! да вчерашний гусарчик-то, подкатил на паре, такая прелесть, буланные, под сеткой... и сразу поцеловал мне руку!.. я так смутилась...» Гусар зашел только на одну минутку, все извинялся, погромел саблей, позвякал шпорами и оставил билет на ложу, просил непременно приезжать, утешить его – а то промажет его Огарок. «Рассказывал, как вы оба влюбились в пансионе в какую-то горничную Нюту, и твой батюшка велел ему за это сто раз как-то перегибаться в гимнастике, для развлечения... И вдруг спросил... прямо, меня смутил, давно ли я замужем! Что сказала?.. Я сказала... я прямо растерялась, сказала... мы еще не повенчаны... не посмела я лгать в *таком?*..» Виктор Алексеевич поморщился, но она смотрела виновато-детски, и он не рассердился, вздохнул только: «Ах ты, ре-бе-нок милый!»

– Она не умела лгать, – рассказывал Виктор Алексеевич. – Она пришла из иного мира, неискривленного. Воспитывала ее тетка, дьяконица-вдова, водила ее по богомольям, учила только церковному. Даринька знала все молитвы, псалмы, читала тетке Четьи-Минеи, пребывала всегда в надземном. Это сказалось даже на ее облике – особенной какой-то просветленностью, изящной скромностью. Эта культура, с опытом искушений и подвигов из житий, с глубинной красотой песнопений... оказалась неизмеримо глубже, чем та, которой я жил тогда. С такой закваской она легко понимала все душевные тонкости и «узлы» у Достоевского и Толстого, после проникновенных акафистов и глубочайших молитв, после Четьи-Минеи, с взлетами и томлениями ищущих Бога душ. С жизнью она освоилась, но целиком не далась. Добавьте ее «наследство»: старинный род, давший Святого и столько грешников.

Поморщился – и сразу пришел в восторг, представив себе, как был ошеломлен Вагаев, тертый калач, этой святой детскостью! Он спросил Дариньку – что же Вагаев, удивился? Она сказала, что он тоже смутился, как и она, почему-то расшаркался и даже поклонился. Виктору Алексеевичу это напомнило, как он когда-то, в келье матушки Агнии, поклонился тоже – «юнице чистой, исходившему от нее *свету* поклонился». И тот, «отчаянный», тоже ее *свету* поклонился?

В восторге от ее «святой детскости», возбужденный новым приливом сил – в нем всегда закипали силы от восторга, – он не поехал на службу, где уже знали, что его скоро назначат по Главному управлению, и предложил Дариньке проехать «в город» для праздничных покупок. Дариньке хотелось привести все в порядок, и не было силы отказаться. Они наскоро закусили постным – белорыбицей со свежими огурцами и икрой с филипповским калачом, прихваченными им по дороге от адвокатов, – он любил баловать ее, – и они покатали в город.

Предпраздничное кипение было еще бурливей, гуще. В конторе Юнкера, на Кузнецком, где Виктор Алексеевич держал остатки отцовского наследства, в зале с газовыми молочными шарами стояла у кассы очередь. Они стали за нарядной дамой, сопровождаемой ливрейным лакеем в баках. Дама была в гранатовой ротонде, все на нее глядели, а подскочивший конторщик в бачках, назвав почтительно «ваше сиятельство», почтительно попросил не утруждаться и благоволить пожаловать в кабинет. Дама проследовала за ним, разглядывая в лорнет, в сопровождении лакея-истукана. «Какие на ней серьги, прелесть!» – воскликнула Даринька, и все на нее заулыбались. Виктор Алексеевич не помнил, какие были серьги: помнил, что на даме была ротонда, и ротонда ему понравилась. Артельщики за решеткой ловко считали пачки и пошвыривали к кассиру. Даринька в изумлении смотрела, как шлепались «бешеные деньги», как важные господа, в цилиндрах и шинелях, получали из кассы пачки и, не считая, засовывали в бумажники. Виктор Алексеевич получил три тысячи и, тоже не считая – «немцы, нечего и считать», – сунул в карман, как спички. «На нас хватит, – сказал он Дариньке, – двадцать две тысячи еще в остатке». Она взглянула на него в испуге: это было «безумное богатство». Она помнила ужас тетки, как вытащили у нее на богомолье восемь рублей и им пришлось из Коренной Пустыни, под Курском, плестись больше месяца и кормиться чуть не Христовым именем. «Такие тысячи... такое несметное богатство!» Он называл ее милой девочкой и обещал ей «игрушку к празднику». Какую?.. А вот... – завернул тут же к Хлебникову, велел показать гранатовые серьги и выбрал тройчатки, грушками. Серьги были «совсем те самые». Даринька задохнулась от восторга, сейчас же приложила и посмотрелась в подставленное кем-то зеркало. «Какая прелесть!..» – шептала она, забывшись, даже строгий хозяин улыбнулся. Серьги стоили пустяки – четыреста. «Что же это... это невозможно, такой соблазн!.. – говорила она с мольбой, восторженно. – Сколько же тут соблазна, Господи!..»

Повсюду кричал соблазн: с бархатных горок ювелиров, с раскинутых за стеклом шелков, с румяных, в локонах, кукол у Теодора, с проезжавших в каретах барынь, с бонбоньерок Сіу и Абрикосова, с ворочавшихся на подставке чучел, в ротондах и жакетах, со щеголей и модниц, с накрашенных дам – «прелестниц» – так называла Даринька. У Большого театра барышники воровато совали ложи и «купоны» – на «Дочь фараона», на «Убийство Каверлей», на «Двух воров»... Даринька еще не была в Большом, но слыхала, что «Конек-Горбунок» – самое интересное; вон и на крыше – зеленые лошадки. «Конек-Горбунок» шел на четвертый день, билеты еще не продавались. Виктор Алексеевич подозвал посыльного в красной шапке и заказал ложу бенуара: надо свозить детей и пригласить Багаева.

В Пассаже текло народом, ливрейные лакеи несли картонки, затерзанные приказчики вертели куски материй, крутя аршином. У Михайлова медведи-исполины, подняв когтистые лапы, как бы благословляли-звали жадных до меха дам. Лукавая лисица манила хвостом, за стекла. «А ведь ты на бегах замерзнешь», – сказал загадочно Виктор Алексеевич и повернул к медведям. Им показали роскошную ротонду, бархатную, темного граната. Степенный приказчик, надев пенсне, заверил, что точно такая куплена вчера княгиней, и крикнул в витую лестницу: «Закройщика!» В большом трюме Даринька увидела прелестную-чужую, утонувшую в черно-буrom мехе. Закройщик, прицелившись, заметил: «Как влиты-с, ни морщинки-с... модель живая-с!..» Старший еще набавил: «Безукоризненно благородный стан, залюбованье-с» – и присоветовал бархатную шляпку, легонькую, со страусом: «У мадам Анет, на Кузнецком, с нами в соотношении-с». Даринька очарованно смотрела на милую головку, уто-

нувшую в черно-буром мехе. Виктор Алексеевич торжествовал: и все торжествовали, и даже хищные соболя, белевшие с полок зубками, торжествовали тоже. «Будет доставлено нарочным-с!» У мадам Анет выбрали «парижскую модель», чуть накрывавшую головку, чуть пирожком, чуть набок, придававшую бойкий тон. «Ленты уже сошли, мадам... вуалетка... правится под шиньон, мадам...»

Кружился Кузнецкий мост, вертели тростями щеголи, подхватывали хвосты прелестницы, ухали на ухабах лихачи, повизгивали кареты, начинали светиться магазины, дымно пылало небо. Виктор Алексеевич вспомнил, что надо бархотку с медальоном, в театре все с медальонами. Опять завернули к Хлебникову и выбрали медальон, в гранатцах. На выходе Даринька увидела кланявшуюся в пояс монашку-сборщицу, с черной книжкой, и смущенно заторопилась, отыскивая деньги. «Дай ей, пожалуйста...» – вырвалось у нее мольбой. Сборщица причитала: «Святозерского, Сенегского... Иверские иконы... на бедную обитель, Гроховецкого уезда... не оставит Владычица...» Виктор Алексеевич дал пятак, увидел глаза Дариньки и что-то еще добавил. Сжимая в муфте гранатовые серьги, Даринька чувствовала укоры и смущенье: что она делает?! за эти одни серьги... сколько!., а там, в морозе, сестры... собирают копейки, во имя Господа... что же это?! Стыло в глазах, с мороза. Она сказала, что надо ей зайти к Иверской, и они наняли извозчика.

На чугунной паперти стояли монашки с книжками и кланялись в пояс подавальцам. Робко заглядывая в лица, она оделила всех: лица были обветренные, в сизых, с мороза, пятнах. Были все больше дальние – с Каргополя, с Онеги – во имя Божие. С тяжелым сердцем склонилась она перед Иконой, стараясь собрать мысли; но не было сил молиться. Она собирала силы, твердила: «Прости, очисти... в соблазне я... дай мне силы, Пречистая!..» – а рука сжимала гранатовые серьги в муфте, сверкали в мыслях рассыпанные камни-самоцветы. И только когда дошло до ее сознания сжившееся с душой «...призри благосердием, всепетая Богородице... и исцели души моя болезнь!..» – душа ее возгорелась и слезы выплакались с печалью. Надо было спешить: Виктор Алексеевич остался курить снаружи. Стало опять легко, бойкая жизнь вертелась.

По дороге домой заехали к Фельшу, на Арбате, купить гостинцев детям Виктора Алексеевича – Вите и Аничке – к Рождеству. У Фельша Даринька увидела украшенную елку в свечках и пришла в неописанный восторг: надо, надо устроить елку, и чтобы были Витя и Аничка! Она давно этого хотела, но Виктор Алексеевич все почему-то уклонялся. Теперь же он сразу согласился, и они накупили пряников, драже, рождественских карамелек с мясцем, сахарных разноцветных бус, марципаных яблочков и вишен, мармеладу звездочками, пастилок в шашечку, шариков и хлопюшек... – чего только хотелось глазу. Даринька увидела пушистую девчурку, «позднюю покупательницу», прыгавшую на мягких ножках, присела перед ней и спрашивала умильно, как ее звать, «пушинку». Девочка лепетала только: «Ма... ма...»

Когда они ехали домой, сияли над ними звезды в седых дымах. Виктор Алексеевич, державший Дариньку, почувствовал вдруг, что она сотрясается от рыданий. «Милая, что с тобой?» – спросил он ее тревожно. Она склонилась к нему и зашептала: «Я все забыла, обещалась... вышить покров на ковчежец великомученицы... Узорешительницы... забыла... бархатцу не купила, канительки... она, великомученица, *все* может... понимаешь... *все* может!..»

Он ее крепко прижал к себе. Он понял, о *чем* она. Еще у Фельша понял, по ее умильному лицу, по голоску ее, когда присела она перед «пушинкой» и слушала умильно ее лепет: «Ма... ма...»

IX. Прозрение

В сочельник, впервые за много лет, Виктор Алексеевич вспомнил забытое чувство праздника – радостной новизны, будто вернулось детство. Он был счастлив, жизнь его обернулась праздником, но тот сочельник выделился из ряда дней.

– Остался во мне доньне, – рассказывал он впоследствии, – живой и поющий свет, хрустальный, синий, в морозном гуле колоколов. Я видел *живые* звезды. Хрустальное их мерцанье сливалось с гулом, и мне казалось, что звезды пели. Это знают влюбленные, поэты... святые, пожалуй, знают.

Тот день начался неожиданностью.

Даринька вставала ночью: он смутно помнил милую тень ее в сиянии лампадки; потом – пропала, «укрылась в келью», – подумалось ласково впросонках. Была у них дальняя комната, с лежанкой, с окошком в сад, в веселеньких обоях – птички и зайчики, – Даринька называла ее «детской». Эту комнату попросила она себе молиться: «Можно?» Там стояли большие пьалы, висели душевные иконы – Рождества Иоанна Крестителя, Рождества Богородицы, Анастасии-Узорешительницы, и лежал коврик перед подставкой с молитвословом. В тяжелые минуты Даринька только у себя молилась. Тогда, впросонках, подумалось – «что-то у нее тяжелое», – и спуталось с девочкой у Фельша, с бархатом на снегу.

Кукушка прокуковала 9, когда он вышел в столовую. Расписанные морозом окна искрились и сквозили розово-золотистым солнцем. Прижившаяся у них старушка-богаделька доложила, что барыня чем свет вышли и сулились вернуться к чаю. Он подумал: «В церковь пошла, должно быть, милая моя монашка», как Даринька явилась, радостная, румяная с мороза, ахнула, что он уже встал, и смущенно стала показывать покупки. Оказалось, что это не наряды, как он подумал, а лиловый бархат, шелка и канительна на покров Анастасии-Узорешительницы, по обещанию. Она виновато просила простить ее, что потратила уйму денег, чуть не двенадцать рублей серебром, но – «очень надо, по обещанию». Он вспомнил, как она вчера плакала дорогой, как умильно ласкала у Фельша девочку, называла ее «пушинкой», молилась ночью... – привлек к себе на колени и пошептал. Она застыдилась и вздохнула.

Все было радостное в тот день, как в детстве. Празднично пахло елкой из передней, натертыми полами под мастику – всегда к Рождеству с мастикой! – ручки дверей были начищены и обернуты бумагой, мебель стояла под чехлами, люстра сквозила за кисейкой, окна глазели пустотой и ждали штор, – все обновится в Праздник; только иконы сияли ризами, венчиками из розочек, голубыми лампадками Рождества. Эта праздничность вызвала в нем забытые чувства детства. Он сказал ей, что ему радостно, как в детстве, и это она, Дариня, совершила такое чудо преображения. Она так вся и засияла, сложила руки ладошками под шеей, сказала: «Все ведь чудо, святые говорили... а наша встреча?!» – и осветила лучистыми глазами.

– Этот единственный, *ее* взгляд всегда вызывал во мне неизъяснимое чувство... святости? – рассказывал Виктор Алексеевич. – Я мог на нее молиться.

Она все знала, будто жила с ним в детстве. Сказала, что завтра будут, пожалуй, поздравители и надо накрыть закуску: будут с крестом священники, приедут сослуживцы. Она разыскала по чуланам все нужное, оставшееся ему в наследство, праздничное: с детства забытые тарелки, в цветных каемках, «рождественские», с желтой каемочкой – для сыра, с розовой – для колбас, с черно-золотенькой – икорная; хрустальные графины, серебряные ножи и вилки, стаканчики и рюмки, камчатные скатерти, граненые пробки на бутылки... – и он неприятно вспомнил, как *та*, все еще именуемая г-жой Вейденгаммер, отослала ему «всю вашу рухлядь». Теперь эта рухлядь пригодилась. За детьми он решил поехать утром, перед визитами. Игрушки уже были куплены: Аничке – кукла-боярышня, а Вите – заводной, на коне, гусарчик, правая ручка в бок. Выбрала сама Даринька: с детства о нем мечтала.

Виктор Алексеевич знал, что придется пойти к всенощной: такой праздник, и Дариньке будет грустно, если он не пойдет. Стало темнеть, и Даринька сказала, что хочет поехать в Кремль, в Вознесенский монастырь. Почему, непременно, в Вознесенский? Она сказала, смутясь, что так надо, там очень уставно служат, поют, как ангелы, и она «уже обещалась». Он пошутил: не назначено ли у нее свидание. Она сказала, что там придел во имя Рождества Иоанна Крестителя, а он родился по ангельскому вещанию, от неплодной Елизаветы... – там упокоятся двенадцать младенчиков-царевен и шестнадцать цариц, даже на кровле башенки в коронах... и младенчикам молятся, когда в *таком* положении... и еще поясок, если носить с подспудных мощей благоверной княгини Евфросинии, то *разрешает*... Даринька смутилась и умолкла. Он спросил, что же разрешает поясок. Она пылливо взглянула, не смеется ли он над ней. В милых глазах ее робко таилось *что-то*... надежда, вера? – и он подавил улыбку. Она шепнула смущенно, в полумраке, – лампу еще не зажигали, светила печка, – доверчивым, детским шепотом, что «разрешает неплодие... и будут родиться детки». Он обнял ее нежно. Она заплакала.

В Вознесенском монастыре служба была уставная, долгая. Даринька стеснялась, что трудно ему стоять, от непривычки: может быть, он пойдет, а ей надо, как отойдет всенощная, поговорить «по делу» с одной старушкой монахиней, задушевницей покойной матушки Агнии. Виктор Алексеевич вспомнил про «поясок» и улыбнулся, как озабоченно говорит Даринька про *это*. Жалостный ее взгляд сказал: «Ты не веришь, а это так». На величании клирошанки вышли на середину храма, как в Страстном под Николин день. Такие же, бесстрастные, восковые, с поблекшими устами, в бархатных куколях-колпачках, Христовы невесты, девы. Он поглядел на Дариньку. Она повела ресницами, и оба поняли, что спрашивают друг друга: помнишь? Чистые голоса юниц целомудренно славили: «...звездой учажуся... Тебе кланится, Солнцу правды...»

Он пошел из храма, мысленно напевая – «...звездой учажуся...» – счастливый, влюбленный в Дариньку, прелестно-новую, соединяющую в себе и женщину, и ребенка, очаровательную своей наивной *тайной*. Походил по пустынному зимнему Кремлю, покурил у чугуновой решетки, откуда видно Замоскворечье. Теперь оно было смутно, с редкими огоньками в мглисто-морозном воздухе, в сонном гуле колоколов. Этот сонный, немолчный звон плавал в искристой мути и, казалось, стекал от звезд. Месяц еще не подымался, небо синело глубиью, звезды кипели светом.

– Вот именно – кипели, копошились, цеплялись усиками, сливались, разрывались... – рассказывал Виктор Алексеевич, – и во мне напевалось это «звездой учажуся», открывшаяся вдруг мне «астрономическая» молитва. Никогда до того не постигал я великолепия этих слов. Они явились во мне живыми, во мне поющими, связались с небом, с мерцаньем звезд, и я почувствовал, слышал, как *пеи* звезды. Кипящее их мерцанье сливалось с морозным гулом невидных колоколен, с пением в моей душе. Сердце во мне восторженно горело... не передать. Я слышал *поющий* свет! И во всем чудилась мне... – и в звездно-кипящем небе, в звездном дыму его, и в древних соборах наших, где так же поют и славят, только земными голосами... и в сугробах, где каждая снежинка играла светом, и в колком сверкании инея, сиявшего со звезд... и во всей жизни нашей – в верованьях, в молениях, в тайнах, в которые верила Даринька, которых она пугалась... – во всем почуялась мне каким-то новым, прозревшим чувством... непостижимая Божья Тайна. Прозрение любовью? Не знаю. Знаю только, как глубоко почувствовал я неразрывную связанность всех и всего со *всем*, со *Всем*... будто все перевито этой Тайной... от пояска с гробницы, от каких-то младенчиков-царевен – до безграничных далей, до альфы в созвездии Геркулеса... той бесконечно-недоступной альфы, куда все мчится, с солнцем, с землей, с Москвой, с этим Кремлем, с сугробами, с Даринькой, с младенчиками-царевнами, через которых может *разрешиться*... – а почему *не* может?! – с этими кроткими, милыми, молитвенно светящими в темноту окошками в решетках, за которыми Даринька молилась Тайне о

«детской милости». Почувствовал вдруг, до жгучего ожога в сердце, в глазах... – ожога счастьем? – что мы *укрыты*... все, все укрыто, «привеяно в уюточку», как просказала та старушка, у столика в морозе, матушка Вирина, прозорливая... все, все усчитано, все – к месту... что моя Дариня – отображение вечной мудрости, звезда поющая, учившая меня молиться. Там, в зимнем, ночном Кремле, в сугробах, внял я предвечное рождение Тайны – Рождество.

С этим прозрением Тайны он воротился в церковь. Всенощная кончалась. Он остановился за Даринькой. Она почувствовала его и оглянулась с лаской. Священник возглашал из алтаря: «Слава Тебе, показавшему нам Свет!..» Где-то запели, будто из мрака сводов, прозрачно, плавно. Пели на правом крылосе, крылошанки; но это был глас единый, сильный. Пели Великое Славословие, древнее «Слава в вышних Богу». Даринька опустила на колени. Виктор Алексеевич поколебался – и тоже преклонился. Его увлекало пением, дремотным, плавным, как на волне. Звук вырастал и ширился, опадал, замирал, мерцал. Казался живым и сущим, поющим в самом себе, как поющее звездное мерцанье.

Виктор Алексеевич качнулся, как в дремоте. Даринька шепнула: «Хочешь?» – и подала кусочек благословенного хлеба. Он с удовольствием съел и спросил, нельзя ли купить еще. Она повела строгими глазами, и ему стало еще лучше. Подошла монахиня-старушка и куда-то повела Дариньку. Скоро они вернулись, и старушка что-то ей все шептала и похлопывала по шубке, как будто давала наставленья. Он ласково подумал: свои дела.

Когда они выходили, из-за острых верхушек Спасской башни сиял неполный месяц. Они пошли Кремлем, пустынной окраиной, у чугунной решетки. За ней, под горкой, светилась в деревьях церковка. «А я купила, хочешь?» – вынула Даринька теплую просфору из муфты, пахнущую ее духами, и они с удовольствием поели на морозе. «Тебе не скучно было?» Он ответил: напротив, были чудесные ощущения, он полюбовался ночным Замоскворечьем, послушал звон... Подумал, что она не поймет, пожалуй, и все же сказал, какое удивительное испытал, как звездное мерцанье мешалось с церковным гулом, – «и получалась иллюзия, будто это пели звезды». «Понимаешь, будто они *живые*... *пели!*» Она сказала, что с ней это бывает часто, и она «ясно слышит, как поют звездочки». – «Ты... слышишь?!» – удивился он. «Ну, конечно, слышу... я это давно знаю. Все может славить Господа! – сказала она просто, как о хлебе. – Всегда поют “на хваление”, как же... “Хвалите Его, солнце и луна, хвалите Его, все звезды света... хвалите Его, небеса небес...” – и в Псалтыре читается... как же! А в житии великомученицы Варвары... ей даже высокую башню родитель велел построить, и она со звездочками даже говорила, славил Господа... как же!..» Виктор Алексеевич восторженно воскликнул: «Да умница ты моя!» – и страстно обнял. Она выскользнула испуганно и зашептала: «Да могут же увидеть!..» – «Кто, – сказал он, – снег увидит?» Она оглянула вокруг, увидала, как здесь безлюдно, шепнула, играя с ним: «А звездочки увидят?..» – и протянула губы. Вернулись они счастливые.

Х. Наваждение

То Рождество осталось для них памятным на всю жизнь: с этого дня начались для них испытания. Правда, были испытания и раньше – Даринькина болезнь, – но то было «во вразумление». А с этого дня начались испытания «во искушение».

В «Посмертной записке к ближним» Дарья Ивановна писала: «С того дня Рождества Христова начались для меня испытания наваждением, горечью и соблазном сладким, дабы ввести меня, и без того грешную и постыдную, в страшный грех любострастия и прелюбодейства».

В тот день Виктор Алексеевич у обедни не был: обедню служили раннюю – причту надо было ходить по приходу, славить – и Даринька пожалела его будить. Когда он вышел из спальни, одетый для визитов, парадный, свежий, надушенный одеколоном – в белой зале стояло полное Рождество: от ясного зимнего утра и подкрахмаленных свежих штор было голубовато-празднично; в переднем углу пушилась в сверканьях елка, сквозь зелень и пестроту которой светил огонек лампадки; по чистому паркету легли бархатные ковровые дорожки; у зеркально-блестящей печки с начищенными отдушниками была накрыта богатая закуска, граненые пробки радужно отражались в изразцах, на круглом столе посередине все было сервировано для кофе – на Рождество всегда подавалось кофе – и сдобно пахло горячим пирогом с ливером. Виктор Алексеевич благостно оглянул все это, и на него повеяло лаской детства, запахами игрушек, забытыми словами, голосами... вспомнилась матушка, как она, в шелковом пышном платье, в локонах по щекам, в кружевах с лентами, мягко идет по коврику, несет, загадочно улыбаясь, заманчивые картонки с таинственными игрушками... – и увидел прелестную голубую Дариньку. Она несла на тарелке с солью тот самый, ихний, пузатый медный кофейник, похожий на просфору, в каких носят за батюшкой просвири святую воду. Он обнял ее стремительно, вскрикнувшую в испуге: «Да уроню же... дай поста..!» – заглушив слова страстным и нежным шепотом. Даринька была голубая, кружевная, воздушная, празднично-ясноглазая, душистая, – пахла весенним цветом, легкими тонкими духами, купленными в английском магазине.

На ее шее, в кружевном узком вырезе, надета была бархотка. Он отвернул медальон и поцеловал таившуюся под ним «душку». Даринька была сегодня необычайная, волнующая, и он говорил ей это в запрокинутую головку, в раскрывшиеся губы. Она ответила ему взглядом и долгим поцелуем. Несшая пирог девочка-подросток, взятая из приюта помочь на праздниках, запнулась и спряталась за дверь. Он восторженно говорил: «Какая ты сегодня особенная... манящая...» Она сказала, что ее очень беспокоит, как-то к ней отнесутся дети. Он ее успокоил, что они маленькие, еще не понимают, полюбят, как и его... – «ну, можно ли не полюбить такую!..»

Он вышел пораньше из дома, чтобы забрать от тещи детей на праздник, а потом ездить по визитам. Надо было к начальнику дороги, потом к своему начальству, к старухе Кундуковой – крестной, богатой и почитаемой, подруге покойной матушки. Затем надо было завезти карточку Артынову, родственнику по матери, у которого очень большие связи, что теперь было важно для дела о разводе. И еще – к барону Ритлингеру, богачу-спортсмену, другу покойного отца по Дерпту, у которого гащивал на Двине, к тому самому, у кого останавливался в Москве «гусарчик», князь Вагаев, его племянник. Виктор Алексеевич вспомнил, что завтра могут встретиться на бегах, – на его рысаке Огарке поедет Дима, – и решил заехать непременно. К тому же сын барона делает в Петербурге блестящую карьеру, лично известен государю и может пригодиться для развода.

Даринька беспокойно ждала детей: как она будет с ними? Смотрела в окна, заглядывала в зеркало: щеки ее горели. Старушка-богаделка поминутно тревожила, надоедала: пришли трубочисты, полотеры, бутошники, водовоз, почтальон пришел, ночной сторож... – с праздником поздравляют. Виктор Алексеевич наказал давать всем по двугривенному в зубы, по шка-

лику водки и колбасы на закуску; но старушка докладывала бестолково о каждом визитере и ахала-ужасалась: «Ну, глядите, какая прорва!» Приходили банщики, «так, какие-то шлющие», и мальчишки – Христа прославить. Даринька растрогалась на мальчишек и от себя дала им по пяточку и пряничков. А священники все не приходили, и это ее тревожило: «А вдруг не придут, покажется им зазорным, что?..» – и Виктор Алексеевич все не везет детей. Она поглядела в зеркало: щеки ее пылали. Поглядела на девочку, слушавшую в передней, не позвонят ли: прилично ли одета.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.